

**Crème de la Crème**





Марсель Жуандо

# ОБРАЗЫ ПАРИЖА

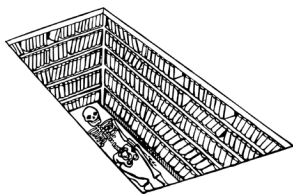
*перевод Татьяны Источниковой*



Kolonna Publications  
Митин Журнал

ББК 84.4 Фр

53†



**Marcel Jouhandeau**  
**Images de Paris**

Редактор: Дмитрий Волчек

Обложка: Алексей Кропин

Верстка: Дарья Громова

Руководство изданием: Дмитрий Боченков

© Éditions Gallimard, 1934, 1956

© Kolonna Publications, 2018

ISBN 978-5-98144-238-4

1934



Я постоянно замечаю из моего высокого окна сухощавую старую женщину, словно заключенную в четырех стенах своего двора, где ее никто не может увидеть – только я с седьмого этажа. Она никогда оттуда не выходит. Являет ли она собой в моих глазах Китай, Европу, Францию или саму Природу? У нее есть белая курица, черный кот, герань, корыто для стирки, стол, стул, муж, работа, отдых. По утрам она, в простой домашней одежде, стирает белье, а по вечерам, нарядившись как на праздник, два часа отдыхает, сложив руки и глядя перед собой. Можно подумать, что она в раю – столь умиротворенной она выглядит. Ей достаточно сделать два шага, чтобы оказаться на оживленном бульваре, среди ярких вечерних огней, но она предпочитает уединение. Здесь, по крайней мере, ей не нужно ни с кем себя сравнивать, и она забывает о своем возрасте. Она не более худа, чем другие, дела у нее идут не хуже. Курица спит; кот сидит у двери конюшни, повернувшись спиной к остальному миру; мужчина стоит у выходящей на бульвар калитки, повернувшись спиной к жене. Она возвышается на садовом стуле за столом, как королева, слева у ее ног цве-

тет герань, справа стоит корыто, огромное, как бездна Паскаля. Когда муж возвращается за стол, он привычным жестом закидывает ногу на ногу и опирается локтем о колено. Оба не говорят друг другу ни слова. Медленно сгущаются сумерки, и раскрытая газета превращается все в более яркое белое пятно. Еще через какое-то время Природа отправляется спать. Человек следует за ней.



## СПЯЩИЙ

9

Человек спит прямо на парапете набережной, обхватив себя руками за плечи. Ноги и голова свисают вниз. Тело настолько скрючено, что видна полоска обнаженной кожи между коричневым вязаным жилетом и синим поясом брюк. Во сне он слабыми произвольными движениями будто стремится как можно больше увеличить расстояние между головой и ногами, и наружу всё заметнее выступает голый живот – словно открытая рана. Соединенные руки вытягиваются, как лебединая шея, сияя белизной; в лунках ногтей – следы засохшего гипса. В каждой складочке этих рук во сто крат больше интеллекта и духовности, чем в ужасном, отталкивающем лице, которое затерялось где-то под ними, словно рухнуло в бездну.

## СЛАВА

Женщина в ветхой одежде, худая и бледная, с искривленными ногами, скошенными внутрь ступнями, впалой грудью, выпирающим животом, сгорбленной спиной и острым как игла носом бредет в середине дня по рю Ванно. Под мышкой она несет, бережно прижимая его к тощему телу, деревянный шест, на конце которого покачивается огромный погребальный венок, заботливо укутанный в три слоя – ваты, капка и вощеной бумаги, в то время как сама женщина одета чуть ли не в рубище. Какая печальная у нее участь – разносчица погребальных венков, и какая болезненная фантазия, заставившая выбрать такой странный и смешной способ доставки! О святой Сульпиций! она шатается, она вот-вот упадет под этим бременем чужой славы, всем своим видом словно говоря, что стремится лишь к одному: поскорее умереть самой и оказаться в общей могиле, куда ее отнесут, как погребальный венок – символ завершения всех земных скорбей.

## ЛОШАДЬ И МЕЛКИЕ ПТИЧКИ

11

Каждый день в один и тот же час ломовой извозчик останавливает свою лошадь возле ресторана на авеню де Версаль и задает ей меру овса в мешке, который подвешивает к ее морде, обмотав завязки вокруг ноздрей. Привлеченные звоном бубенцов на упряжи, со всех сторон слетаются воробьи и другие мелкие птички. Они давно поджидали эту лошадь, которая сейчас смотрит на них поверх мешка с овсом и, кажется, улыбается им. Птички вспархивают с земли к самой ее голове; два огромных глаза, каждый размером с любую из них, казалось бы, должны внушать им страх – но нет; очевидно, в глубине этих глаз они видят одну лишь доброту этого благородного животного, чей рот и крупные зубы к тому же скрыты от них мешком. Единственное, чего они боятся, – так это ее огромных железных подков, которыми она, неосторожно переступая ногами, может их расплющить; но, словно специально для того, чтобы не причинить им вреда (или из опасения отпугнуть эту весело щебечущую ватагу), лошадь стоит неподвижно, хотя и страдает от укусов слепней. Некоторые птички, будто догадываясь о ее дружелюбном расположении, цепляются коготками за

холщовую ткань мешка и клюют овес уже прямоком из него; другие пытаются уцепиться за повод; кто-то суетливо машет крыльями возле остроконечного лошадиного уха, которое слегка подрагивает, отгоняя его. Когда они становятся чересчур назойливыми, в ее негромком миролюбивом ржании, кажется, звучит некоторый упрек; но потом она, словно забавляясь, нарочно приподнимает голову и встряхивает ею, чтобы просыпать побольше овса из мешка на землю, щедро делясь с птичками своим счастьем.

## ПЬЯНЧУЖКА

13

Возле дверей бара на рю Дофин стоит на коленях старуха, почти касаясь массивным лбом стекла, о которое она иногда ударяется, не замечая его.левой рукой она пытается вытащить что-то из пустоты, принимая ее за свою сумку.

## ПЛЕННИК

Какое достоинство, какую вдохновенную бледность увидел я на лице человека, который шел вчера в сопровождении двух полицейских по Кэде-л'Орлож! Его скованные за спиной руки выглядели как две искупительные жертвы, которые он принес, чтобы избавить себя от унижения. За всё то время, что я мог за ним наблюдать, он поднял глаза не более двух раз, пройдя около сотни шагов. Как ему удавалось выглядеть так, словно он один? Что он совершил? Я перебрал одно за другим все злодеяния и преступления; ни одно не подходило к его лицу – худому, утонченному, аскетическому, на котором не было ни тени заносчивости и в то же время читалось природное превосходство, делающее его недосыгаемым для всех, даже для двух его отвратительных ангелов-хранителей, которые рядом с ним казались большими детьми – словно это он вел их за собой.

Меня всегда неудержимо влекло к преступникам – я им сочувствовал и одновременно ими восхищался, в глубине души будто сознавая, что лишь в оковах можно наконец-то стать по-настоящему «свободным»; и не потому ли я желал для себя их оков и их стражи, что в моих глазах это сближа-

ло их с Христом? Такое сходство присуще любому преступнику, даже тому, кто полностью заслуживает казни.

## НОЧНОЙ МОТЫЛЕК

Каждый день у себя в номере отеля Фёдор потягивается, скучает, ничего не ест на завтрак, обедает фруктами и шоколадом. К четырем часам он одевается со всей тщательностью. Элегантность его костюма безупречна – всё на своих местах, ни одна деталь не забыта. В шесть вечера он наконец выходит из отеля и прибывает на бульвар с наступлением темноты. Кажется, что взгляды всей публики обращаются к нему, когда он выходит из-за угла; его шарф из переливчатого шелка поверх отороченного бархатом пальто оттеняет бледное, томное лицо. Внезапно он делает резкий пируэт – это выглядит так, словно он едва не упал, но в последний момент удержался на ногах, – а потом, преувеличенно жестикулируя, поправляет манжеты, приглаживает волосы и отряхивает пальто с помощью фетровых перчаток. Именно здесь, на бульваре, он у себя дома. Пройдя каких-нибудь двадцать шагов, он буквально преображается; здесь его привычный мир вечерних сумерек и сияющих вывесок. Он ужинает без особого аппетита с незнакомцем, которого «презирает за его деньги», и возвращается только на рассвете – еще более бледным, более томным, более изможден-



ным, более горделивым, чем вчера, и без гроша в кармане. Смерть станет для него первым пробуждением.

**БУКЕТ**

Бедно одетая женщина улыбается, глядя на букет, который только что подобрала с мусорной кучи. Она испытывает робкую надежду его продать, и ей доставляет удовольствие представлять себе всё то, что она купит себе на обед, который полностью зависит от этих полусгнивших цветов. Сидя на бульварной скамейке со своей красной зловонной мечтой в грязных руках, она находит в себе силы не просить подаяния и обманывать голод.

У мужчины огромные руки, слишком большие для него – будто накладные. В этих руках – вся его сущность, сам он выглядит как приложение к ним. Он говорит. Говорит не столько ради того, о чем идет речь, не столько ради того, чтобы быть услышанным, сколько для того, чтобы говорить. В основном он говорит руками и складками возле рта – по крайней мере, это всё, что улавливает его жена, сидящая напротив, которая вынуждена на него смотреть, но уже давно привыкла пропускать его слова мимо ушей. Они оба ничего не потеряли бы, даже будь он немым, а она – глухой. Она, со своей стороны, не отвечает ему словами – лишь складки возле ее рта изгибаются в такт движениям складок возле его рта, а жестам его рук она отвечает кивками головы, пожатием плеч и покачиванием искусственных веточек на своей шляпе, напоминающих усики гигантского насекомого. Если бы ее муж вдруг перестал говорить, она бы растерялась, как если бы складки возле ее рта, ее голова, плечи и усики на шляпе внезапно остались бы без дела; и точно так же он иногда говорит словно в пустоту, отвечая на вопрос, которого ему не задавали.

## МАЛЕНЬКИЕ РИТУАЛЫ

Каждый день в двенадцать часов благообразный человек лет пятидесяти завтракает стоя на небольшой улочке, которую видно у меня из окна. Завтрак он приносит с собой, держа в руках – скорее всего, это хлеб с сыром, завернутые в бумагу. Завидев прохожего, он всякий раз опускает глаза. Он никогда не запивает еду – точно кролик.

Полчаса спустя появляется старая тряпичница с пунцово-красным лицом и серебристыми волосами. Она занимает место под тем же самым газовым фонарем, чтобы в свою очередь позавтракать – но, в отличие от предшественника, она садится и почти ничего не ест, только пьет. Она приносит с собой два литра вина, красного и белого, и выпивает их одним махом. Едва завидев прохожего, она осыпает его оскорблениями, пока он не скроется из вида – пусть даже за всё это время он ни разу не посмотрит в ее сторону.

## ДЕТСКИЕ ИГРЫ

21

Толпа детей из Порт-Ройяль де Гренель штурмует будку общественной уборной. Самая большая радость – забраться на гребень крыши, наполовину провалившейся, и усесться на него верхом. Иногда они взбираются туда по трое-четверо одновременно, потом кто-то сваливается, за ним другой – или прямо в дыру, или рядом с ней. Однако все вылезают как ни в чем не бывало, отряхивают куртки, кто-то проводит сухой рукой по мокрым волосам – и снова карабкаются вверх, чтобы занять ненадежное место под солнцем.

## ГАЛСТУК ПЕСОЧНОГО ЧЕЛОВЕКА

С утра до вечера этот человек перекапывает кучу песка, и с утра до вечера концы его галстука болтаются у него перед глазами, задевая черенок лопаты. Они явно мешают – то заслоняют вид в самый неподходящий момент, то наматываются на руку. По сто раз на дню этот галстук отвлекает его от работы, но даже изнемогая от жары и усталости, которая еще усиливается необходимостью каждый раз поправлять бесполезную тряпку, человек даже не помышляет о том, чтобы от нее избавиться. Неужели он настолько рассеян или настолько недалек? Или эту удавку специально выдали ему, чтобы помучить? Нет, но благодаря ей он не думает ни о своей работе, ни о своей усталости, ни о своем отдыхе, полностью поглощенный этой единственной вещью, которая освобождает его от необходимости воспринимать всё остальное.

С наступлением сумерек женщина распахивает решетчатые ставни на окнах своего дома, весь день оберегавшие его от жары, и, подтягиваясь на руках, взбирается на крышу, чтобы подышать свежим воздухом. Там она сидит в задумчивости, рассеянно наблюдая за ребенком, в одиночестве играющим на лужайке в десяти метрах внизу.

Прямо напротив нее лежит на боку мужчина, положив голову на мостик своей барки. Одна его обнаженная рука прижата к груди, другая вытянута вдоль тела. Кисть этой руки, будто изваянная из белого мрамора, великолепна. Она необычайно огромна – даже издалека можно разглядеть во всех подробностях ее пальцы, лежащие на колене, словно на пьедестале.

## СБОРЩИЦА УГЛЯ

Маленькая старушка ждет появления угольных фургонов, стоя в семь часов зимнего утра у перехода в Пасси. Когда они проезжают, она следует за ними до моста Гренель. Как только из какой-нибудь фуры падает на землю уголек, она наклоняется и подбирает его. Если он рассыпается в черный порошок, она жалеет о том, что его не подобрать, а если не рассыпается, – о том, что за ним надо наклоняться, а это так мучительно. Приподняв голову, она видит подходящий кусок угля, упавший чуть подальше, и торопится к нему. Волосы падают ей на глаза, она едва волочит ноги, чтобы не потерять слишком разношенные туфли, подвязанные к щиколоткам ремешками – они тоже мешают идти быстрее. По мере того как она движется следом за повозками, ее силы постепенно убывают, а мешок становится всё тяжелее; но ее походка не становится от этого тяжеловесной – напротив, кажется, что она идет на цыпочках и, словно пьяная танцовщица, поминутно теряет и вновь обретает равновесие и задор. Ее движения даже не лишены изящества – будто она и впрямь танцует под аккомпанемент колокольчиков на упряжи ломовых лошадей. Мешок, наполовину полный,



теперь волочится по земле и еще сильнее мешает ей; она вынуждена приподнять его левой рукой, и ее локоть образует острый угол, который ранит небо всякий раз, когда правая рука устремляется к черной земле.

Через какое-то время я перестаю различать в тумане повозку – теперь она выглядит огромным размытым прямоугольником, вслед за которым движется нечто вроде многоконечной звезды, кружащейся на ветру – как будто ее заставляет вращаться какая-то секретная пружина. Но вскоре повозка исчезает окончательно, и я вижу лишь маленькую старушку, неподвижно лежащую, раскинув руки, на своем мешке, который, разорвавшись, рассыпал уголь на все четыре стороны.

## БЕЛЫЙ КРОЛИК

Из окна я вижу позолоченную клетку с птицами нашей консьержки. Белый кролик, которого отпускает свободно гулять во дворе его хозяин, сосед с первого этажа, с утра до вечера смотрит на них восхищенными глазами и слушает их пение, замерев неподвижно, словно в экстазе, и вытянув перед собой передние лапки в точности параллельно друг другу. Возможно, ему кажется, что он охраняет этих птиц; но получается так, что он и в самом деле их охраняет – стоит кому-то из окрестных кошек приблизиться к их сияющей обители, столь прозрачной, столь совершенной, – и белый кролик, словно серафим у небесных врат, бросается на защиту своих богов. Он пищит, верещит, изрыгает пламя. Поначалу кошки нападали на него, но, удивленные отвагой столь явно безобидного существа, со временем отступились, словно в знак уважения к такой самоотверженности.

## ВОЗДУШНЫЙ ШАР

27

Маленькая больная девочка сидит на пороге дома, облаченная в свадебный редингот своего отца. Ее младший брат одной рукой держит ее за руку, а в другой сжимает нитку красного воздушного шара, трепещущего высоко в небе и словно уносящего их обоих в неведомый мир, далекий от нас и от них самих.

## ПОКЛОНЕНИЕ СВЯТЫМ ДАРАМ

Возле самого Божьего Лица – умное личико маленькой девочки, которая, напустив на себя нарочито бессмысленный вид, монотонно шепчет привычные размеренные слова – ее губы смыкаются и размыкаются, будто створки капкана, голова наклонена, словно под бременем благоговения, глаза плотно закрыты, как духовные сферы – от профанов.

Священник, идя по проходу, поочередно благословляет детей, поднося к голове каждого дароносицу. У одного такой вид, будто он предпочел бы, чтобы его ударили, лишь бы не касались ею.

Распорядитель церемонии – высокий и стройный молодой человек. Свои руки, очень красивые, он складывает поверх пояса всякий раз, когда что-то шепчет на ухо прелатам, а те время от времени жеманным движением двух пальцев поправляют ему прядь волос, свесившуюся на прозрачно-бледный лоб, по которому пробегают тени и отблески свечей.

Справа от меня – отец семейства, кажущийся вполне заурядным до того момента, как все опускаются на колени, ожидая благословения. Торжественным и в то же время привычным жестом

он берет в обе руки длинные косы своей дочери, свесившиеся вниз точно так же, как пряди волос распорядителя, и раскладывает их на полу в виде цветочного узора. Девочка даже не оборачивается: должно быть, уже привыкла к мании своего отца. Последний, судя по виду, погружается в глубокое мистическое созерцание.

Молодой господин слева от меня то и дело протирается на полу, уперевшись лбом в свой зонтик, а затем осеняет себя крестом. До окончания церемонии он успевает проделать это не менее сотни раз. Крестясь, он каждый раз смотрит в мою сторону рыбьими глазами. Его руки имеют цвет лосося, а подмышка – его запах. Кажется, и сам Господь Бог не смог бы взглянуть на него без омерзения, несмотря на всё его показное благочестие, – настолько он уродлив. Кажется, что подошвы его ног, касающиеся его лежащей на полу жемчужно-серой шляпы, не имеют никакого отношения к голове.

## СОБАКА УГОЛЬЩИКА

Собака угольщика будто пересчитывает мешки, касаясь их носом, а потом следует за своим хозяином, взвалившим их на себя, почти вплотную, пытаясь разделить с ним тяжесть груза. Она не умеет говорить, но по ее торопливым движениям можно догадаться, с какой готовностью она взяла бы всю эту ношу на себя, чтобы хозяин мог отдохнуть, и как сожалеет, что не в силах этого сделать. Между двумя подергиваниями за ошейник хозяин обычно гладит ее, а если он забывает это сделать, собака тычется мордой в его холодные руки, чтобы согреть их своим дыханием, или слизывает пот с его лба. Для этих двоих, кажется, не существует больше никого в целом мире, за исключением их лошади и угля. Они одновременно трогаются с места, одновременно останавливаются; можно было бы сказать, что они – одно существо, но из них двоих угольщик сильнее устает, а собака сильнее любит.

На первом этаже дома в предместье, в окне обитали бедняков, среди горшков с геранью, в обрамлении штор из камчатного полотна, неизменно сидит белая кошка. Чуть подрагивая розовыми ноздрями, она замороженно созерцает огромный стеклянный шар аквариума с красными рыбками, висящий у нее над головой. Он держится на потертой веревке, зацепленной за ржавый гвоздь, вбитый в трухлявую доску. Знает ли она об этом? Кажется, она в любую минуту ждет крушения этой небесной сферы, чтобы наконец-то сожрать недосыгаемых для нее божеств.

## БАЛКОН

Бабушка в красной шали сидит на балконе справа, с книгой в руке. Мать в белой блузке стоит слева и гладит белье. Дети, играющие во дворе, очень хотят привлечь внимание той или другой, но обе поглощены своими занятиями. Дети уже почти готовы заплакать или сделать что-то дурное, лишь бы только на них посмотрели.



Мужчина орудует огромным журавлем, набирая воду из реки, пока его жена что-то стирает в тазу, одновременно присматривая за играющим ребенком. Каждый из троих разместился едва ли на квадратном метре узкого моста. Малейшая оплошность грозит гибелью. Однако мужчина вращает лебедку, женщина стирает, ребенок продолжает играть, и все трое при этом вплотную близко друг к другу и к смерти, – отчего улыбаются еще безмятежнее.

## ЛОШАДЬ И ВОЗЧИК

Чтобы подбодрить свою лошадь перед тяжелым подъемом под палящим солнцем, возчик поглаживает ее губы кожаной бахромой своего кнута, целует ее в морду и шепчет ей что-то на ухо. Лошадь, одновременно растроганная и смущенная этой ласковой фамильярностью, выглядит так, словно с трудом сдерживает слезы и собирается отказаться от незаслуженных почестей – пытаюсь уклониться, она выпрямляет ноги, чтобы стать выше, и едва ли не становится на кончики копыт, как на цыпочки. Ее ноздри раздуваются, она запрокидывает голову и шумно дышит – но вот, побежденная, медленно склоняет голову на плечо хозяина. На ее морде читается замешательство, которое внезапно сменяется покровительственной насмешкой. «Вот дурак!» – словно думает она, в то время как ее добродушие, взяв верх над усталостью, заставляет ее ускорить шаг.

Сегодня вечером я некоторое время следовал за необычной процессией, состоявшей из трех пьяных: один восседал на стуле, похожем на королевский трон, а двое других его несли, после чего он уступал место кому-то из них, и всё повторялось. Примерно через каждые десять шагов кто-то падал, и всякий раз не тот, кто прежде; но как только один полностью лишался сил, у двух других оказывалось их достаточно, чтобы его поднять.

## ПРОХОЖИЕ

Человек идет небрежной походкой, обеими руками держа за спиной сложенный зонт. Он выдал замуж всех своих дочерей и теперь, уже не беспокоясь за их будущее, улыбается какой-то своей мысли, которая будто идет, пятясь задом, впереди него.

\*

Женщина идет столь широкими и размеренными шагами, иногда чуть откидывая назад голову и верхнюю часть туловища, как это делают всадники, что кажется, будто ее ноги, слишком длинные для нее, ей не принадлежат – можно подумать, что она едет верхом на иноходце, скрытом у нее под пальто.

\*

Отчего так триумфально шествует эта женщина в слишком короткой юбке и старых ботиках, давно вышедших из моды? Пальто с расклешенными рукавами она носит уже не менее десятка лет. Кружевной шарф, обрамляющий лоб, выглядит

потрепанным, но голова горделиво вскинута, а на лице читаются ревнивое обожание, властность и нескрываемое торжество над небытием – я хочу сказать, над собственным сыном, которого она держит за руку и которому явно предназначила жить лишь ею и для нее.

\*

37

У нее маленький зонтик, который она держит, словно парашют, в левой руке; ее туфли, слишком узкие, не дают ступать свободно – такое ощущение, что при каждом ее шаге дорога ускользает у нее из-под ног, не желая нести на себе ее приземистое, грузное тело; и одновременно солнце бьет ей в лицо, отчего она вынуждена двигаться почти вслепую, как потерявший управление корабль. Он поддерживает ее под локоть, словно пытаясь удержать в границах благоразумия. Он хрупкий, бледный, долговязый, нескладный, у него нет никакой защиты от солнца и окружающего мира, и он вынужден быть вдвойне осторожным – ради себя и своей спутницы; в свободной руке у него тросточка, с которой он управляется, как гребец с единственным веслом.

Прогулка вдвоем: обоюдное нетерпение, уравновешенное взаимной предупредительностью.

\*

Он идет передо мной, хотя вернее было бы сказать – танцует; можно подумать, что при каждом шаге, в то время, как его подошвы, словно сорев-

нуясь, всё больше отрываются от земли, он колеблется, спорит сам с собой – но в конце концов всё же не решается взлететь.

\*

38 Лицо этой женщины парит в небе, а тело, будто подвешенное к этому светилу, покачивается туда-сюда, вовсе не касаясь земли.

Пелагея шествует по бульвару, возвращаясь от вечерни. Ее шляпа словно парит над ней, как шелковый навес, укрывающий массивный узел блестящих волос. О, гордость бедняков! – ее перчатки тянутся чуть ли не до подмышек, красноречиво свидетельствуя о том, что на рукава не хватило ткани. Позвякивают массивные украшения. Блеск фальшивых рубинов, которыми усыпан ее крест, способен ослепить только ее саму. Куда она идет? Ее шаги не слишком быстры, не слишком медленны. Никакой сюрприз, никакого разочарование не ждут ее в конце пути; она живет лишь настоящим, довольная своим платьем и той скромной долей восхищения, которая ей достается на пути от одной двери к другой, как всякий раз воскресным вечером. Она никого не замечает, а зрителям остается лишь вообразить себе процессию, за которой или во главе которой она шествует. Но скажите же мне, куда идет эта женщина среди всех тех, которыми она была и которыми она будет?

## НАСМЕШНИЦА

Насмешница сидит на террасе кафе на площади Сен-Мишель вместе со своим братом. Обоим около пятидесяти. Они позавтракали у общих друзей, а потом зашли сюда, чтобы немного поболтать прежде чем расстаться. Будучи портнихой, она не интересуется ничем, кроме моды, и когда мимо проходит пара, вид которой говорит о бедности, чужеродности, скованности, величии и трагедии, – то, если только одежда этих людей не сшита мастерицей своего дела, она насмехается над ними, не замечая в них ни величия, ни трагедии и ничуть не задумываясь о том, что по своему положению в обществе она гораздо ближе к тем, над кем она смеется, нежели к тем, кем она восхищается, так что ей стоило бы, оставаясь последовательной, смеяться в первую очередь над собой. Она смеется, не сознавая, что этот смех направлен ею на себя.



## РАЗНОСЧИЦА ХЛЕБА

41

Разносчица хлеба, согбенная почти до земли, прямо на ходу, посреди улицы, опирается подбородком на руку, а локтем – на пустоту. Всё ее тело так устало – и голова еще сильнее, чем даже руки.

## ПЛЕТЕЛЬЩИЦА СТУЛЬЕВ

Плетельщица стульев с бульвара Гарибальди выбрала свое ремесло, чтобы, по ее словам, жить без багажа. «Несколько стеблей камыша, деревянная рама, колышки – со всем этим я могу разместиться где угодно и заработать на еду и жилье», – говорит она.

## МОЙЩИК ПОСУДЫ

43

Что за тайный опыт, свидетельствующий о королевском, если не божественном происхождении, или, может быть, возникший в результате одного-единственного счастливого воспоминания, озаряет это столь заурядное лицо улыбкой, которую, кажется, не сможет стереть даже смерть? Оно словно осенено благодатью. На нем печать жизненных невзгод и несомненного достоинства, помогающего их переносить; первое вызывает сострадание, второе – почтение. Этот морщинистый лоб цвета старой слоновой кости мог быть у китайского водоноса или каноника из Нотр-Дам, но его обладатель – всего лишь мойщик посуды.

## ЧАСОВЫЕ

Когда идешь каждое утро привычной дорогой, неизменно видишь перед собой, всегда на одном и том же месте, в одно и то же время, тех же самых людей – все появляются в свой черед, словно заводные фигурки на башенных часах.

Длинные бакенбарды, трость с серебряным набалдашником, темно-фиолетовый приталенный сюртук с длинными фалдами – кажется, этот человек был молод еще во времена Оффенбаха. Он появляется на рю Ренуар, неся в руке небольшой изящный сверток, перевязанный розовой ленточкой, вроде тех, в которые упаковывают пасхальные яйца, – бывший профессиональный фат, на склоне лет вынужденный податься в конторские служащие. Готов поспорить, что под кокетливой оберткой нет ничего, кроме хлеба и шоколада, которыми он позавтракает между двенадцатью и часом пополудни в уборной какого-нибудь притона.

## СТАРАЯ ДЕВА

На улице Благовещенья я встречаюсь взглядом со старой девой, идущей от мессы и насыщенной недавними впечатлениями – ее глаза словно умоляют вас не поддаваться ее греховному желанию быть изнасилованной.

## СТАРЬЕВЩИК

47

Перед домом Бальзака улица сужается, и сначала я вижу лишь две руки в белых перчатках, толкающие тележку, затем – благородное лицо отставного военного; это старьевщик, о котором все обитатели Пасси говорят, что он сбежал пятьдесят лет назад из Сен-Сира, – очевидно, ради более высокой чести копать в их барахле.

## СТАРЬЕВЩИЦА

В самом укромном уголке на рю Бертон сидит на ступеньке перед зеленой садовой калиткой старая женщина, буквально утопающая в своей длинной густой шевелюре, белой как снег, которую она постоянно моет или расчесывает, словно прилежная рабыня, убажывая госпожу. Однажды я выразил восхищение ее волосами и заботой о них. «Ах, так значит, всё еще можно разглядеть, даже под грузом моих семидесяти лет и под этим рубищем, что я кокетка? – растроганно произнесла она, показывая мне свой железный гребень и флакон нашатырного спирта. – Значит, вам приятно, месье, видеть мои волосы такими ухоженными? Спасибо! – И она расплакалась. – Вот уже сколько лет я думала, что до этого нет дела никому, кроме меня!»



Удобно устроившись на кучерских сиденьях, закутавшись в несколько покрывал, они разъезжают по Парижу в своих повозках: у одного за спиной – целый пальмовый лес, у другого – целый Олимп гипсовых богов. Они никуда не торопятся, не подгоняют своих послушных лошадей. Их спокойствие и умиротворенность передаются и мне.

\*

Каждый день в один и тот же час я встречал на переходе в Пасси женщину с брезгливо-унылой гримасой на лице и постоянно адресовал ей точно такую же гримасу. Постепенно выражение ее лица изменилось – она не хотела уподобляться мне.

\*

Странный человек обогнал меня на авеню де Версаль – в огромных башмаках и слишком длинных брюках, хотя, казалось бы, на таких ногах ни одни брюки не должны выглядеть слишком длинными.

Борода у него торчала во все стороны, напоминая пучки сырой соломы, которые еще увеличивались, пробиваясь под толстые стекла громадных очков. Чтобы получше разглядеть этого оригинала, я поспешно обогнал его и сел на скамейку, дожидаясь, когда он пройдет мимо. О! ну и вид! Поля его шляпы напоминали слоновьи уши, а сюртук мотался свободно, как морщинистая шкура носорога. Невозможно было не зарыдаться от умиления и одновременно не расхохотаться – хотя я видел, что все вокруг осуждают это беспричинное бессердечие. Но вот над моим плечом склонился ангел и прошептал:

– Это ведь ты, ты сам только что прошел мимо самого себя.

\*

Я вышел из дома, еще не осознавая, что чем-то взволнован, но взгляды сторонящихся меня прохожих открыли мне мое собственное смятение. Как только я вышел за пределы своего одиночества, всё на моем пути стало напоминать волшебную сказку.

Двухколесная повозка, ехавшая по набережной, словно плыла над мостовой, не касаясь ее. Из трех седоков один, разморенный жарким полднем, с блуждающим взглядом, полуоткрытым ртом и широко расставленными руками и ногами, держал вожжи; другой, опиравшийся на локоть, как античный раб, что-то считал на пальцах; третий, с мясистыми влажными губами, стоял, выпрямившись во весь рост, и ошибся бы тот, кто принял его за простого грузчика: его заломленный

назад берет выглядел как золотая корона на голове монарха в священный день восшествия на престол. Вся эта группа была так высоко вознесена над ступенькой повозки, а сама ступенька – над землей, что казалось, будто они не просто перевозят груды песка, а совершают, специально для меня, восхождение в небеса.

\*

51

На авеню Версаль каждый день в одно и то же время, с точностью до секунды, появляется человек, ведущий под узцы черную лошадь. Он выгуливает ее, наблюдая за скольжением солнечного луча с грустной улыбкой умирающего. Переплетения корней под ногами человека и лошади, кажется, не доставляют им никаких неудобств – только я отбиваю об эти корни свои собственные ноги.

\*

Человек, сидящий в автобусе, выглядит как отверженный ордена Страстей Христовых. Две лошади, белая и серая, больше похожие на ангелов, чем сами ангелы, припадают с двух сторон к ногам Христа, воздавая ему почести. С его раскинутых рук, прибитых к кресту, свисают гроздья человеческих лиц. Все собаки мира собрались под алтарем. Кровь Вирсавии стекает на крест.

14 июля  
НАБЕРЕЖНАЯ ТУРЕЛЬ

52

**ЛИХОРАДКА**

Чтобы выставить ноги на воздух и при этом не шокировать публику, нищий укрывается под мостом и отыскивает самый темный уголок, где обнажает их. Время от времени его лицо начинает пылать, как в лихорадке. Спрашиваешь себя, о чем он думает. Но он лишь тайком расчесывает свое тело до крови.

Все они больше всего хотели бы выставить наружу свой живот – то ли оттого, что ему жарче, чем всему остальному телу, то ли оттого, что для них это апофеоз удовольствия – но поскольку они не могут невозбранно реализовать свою бесстыдную мечту, они притворяются, что спят, – и вот малопомалу рубашка задирается вверх, брюки сползают вниз, и обнаженный живот предстает миру во всей красе.

**ИОАНН-КРЕСТИТЕЛЬ**

Этот тип думает, что никто его не видит, потому что он сидит на огромной гряде известняка и может ублажать себя вволю, будто он тут совсем один – тогда как любой из толпы прохожих, чуть перегнувшись через парапет, может полюбоваться его «игрой в Иоанна-Крестителя».

## БЕДНЕЙШИЙ ИЗ БЕДНЯКОВ

55

Всё имущество беднейшего из бедняков состоит из брюк, рубашки, носового платка и бутылки. Он осторожно споласкивает бутылку, стирает рубашку и платок. Брюки – это уже часть его тела. Он никогда не снимает их и не стирает. Когда всё высохнет, рубашка снова заправляется в брюки, платок кладется в один карман, бутылка – в другой.

## КОРОЛЕВА КАРНАВАЛА

Из небольшого холщового мешочка – всего таких висит у нее на поясе штук десять – она достает скрученные витки золотой мишуры и обвивает одним из них голову, другим – руку, третьим – обе щиколотки, словно возлагая на себя атрибуты королевской власти.

Королева карнавала провела несколько часов в своей молодости и продолжает оставаться там, разлегшись вечером на берегу реки – со своими вшами, своими язвами, своими фальшивыми драгоценностями и разноцветными обрывками бархата и тафты. Умея нравиться даже во сне, она почти неуловимым движением заставляет свое платье слегка соскользнуть вниз, открывая похотливым взорам обнаженное плечо.



Цыганка дремлет, наклонив голову вперед, ее пустая сумка свисает между колен. Ее корсаж усеян булавками, сверкающими на солнце, и все ее хозяйственные и туалетные принадлежности – две щетки, раскрытый нож, закрытый котелок – разложены перед нею в столь идеальном порядке, что он кажется не внешним, а внутренним, создавая вокруг нее умиротворяющую, почти домашнюю атмосферу. Дремота одолевает ее за десертом, между уже съеденной грушей, чьи ленты срезанной кожуры желтеют на земле, и сыром, который она машинально продолжает нарезать. Ее огромные руки словно охраняют ее сон, как бдительные часовые, вооруженные пиками длинных ногтей – кажется, они одни не спят. Ее плоть оранжевого цвета. Бедность позолотила ее кожу. Порой она слегка встряхивается всем телом, будто желая приободрить себя, чтобы избавиться от страха внезапной смерти.

## КВАРТЕТ

Ближе всех к воде лежит старый супруг, рядом – два любовника его жены. Нынешний фаворит расположился несколько наособицу – это юный араб, почти подросток. Он спит; два других без особых церемоний собираются распить бутылку, только что принесенную женщиной под юбкой. «Разбуди его!» – командует жена своему старикашке, но тут сосед начинает протестовать: «Кто спит, тот сыт, да и пьян!» – «В самом деле, зачем его тревожить?» – шепчет она и, склонившись над возлюбленным, слегка приподнимает ему голову и осторожно вливает красное вино тонкой струйкой между его полуоткрытых губ. Какая признательность вспыхивает в распахнувшихся черных глазах юного араба от этой нежданной милости! По его обнаженной груди растекаются красные струйки, сбегая до самого пупка. Такое потворство вызывает всё большее раздражение у двух других, презрительно наблюдающих за этой сценой. Наконец они поднимаются, чтобы получить свою долю, но оказывается, что бутылка пуста. «А ты-то что?» – восклицает раздосадованный таким оборотом муж, обращаясь к жене, но, не дожидаясь ее ответа, третий набрасывается на араба и

одним ударом кулака почти оглушает его. Потом все четверо постепенно засыпают, и каждый бормочет что-то сквозь зубы, злясь каждый на свое. «Почему, – кажется, спрашивает юный араб у Судьбы, – именно на меня, несчастного, обрушивается этот град побоев и ласк?» Зато обманутый муж торжествует: оба его соперника, изводя друг друга, словно бы взяли на себя миссию отомстить за него – как будто муж, чья жена завела любовника, может мечтать только об одном: чтобы она ушла от этого любовника к другому.

## ПРЕИСПОДНЯЯ

Однажды вечером, проходя по улице Кортамбер, я заметил в небольшом садике перед домом бутылку шампанского в ведерке со льдом, а внутри дома, при свете лампы с матерчатым красным абажуром, – две белые руки, неподвижно лежащие на скатерти. Каждый вечер я снова проходил этой дорогой, и ни руки, ни бутылка шампанского так и не сдвинулись с места. Лампа была такой тусклой, а абажур – таким узким, что в круг света попадали только мертвенно-бледные кисти рук, и казалось, что никто и никогда не возьмет на себя заботу о том, чтобы воссоединить эту бутылку шампанского с ее невидимым владельцем, чьи руки были отсечены кровавым лезвием света.

## ПОТРЕВОЖЕННАЯ ТАЙНА

61

В тупике, где обычно не встретишь ни одного прохожего, возле чахлого садика, на скамейке, окруженной зарослями букса, сидят мужчина и женщина. При моем приближении женщина отворачивает голову, чтобы скрыть лицо, и я вижу лишь внутреннюю поверхность ее освещенных солнцем рук, широко расставленных, словно в изумлении, и вытянутых вдоль бедер. Мужчина, напротив, пытается повернуться ко мне, и вид у него такой, словно он извиняется, что не может уделить мне достаточно внимания.

## ОРКЕСТР

На эстраде, загроможденной музыкальными инструментами, два человека ищут друг друга всё то время, что они не вместе, как будто каждый из них – половина другого. В барабанщике самая выдающаяся часть тела – его зад, у окариниста – лицо. Зад одного – словно естественное продолжение лица другого, отчего они постоянно озабочены тем, чтобы, воссоединившись, стать частями единого целого, у которого одна тень, состоящая из двух частей; но вместо этого они – две навсегда разделенные части, и при этом – оркестр.

На одной из маленьких улочек Монмартра кошачье сборище держит совет, как вдруг откуда-то выныривает серый кот – тощий, почти просвечивающий насквозь, словно призрак, передвигающийся почти без движения, будто плывя на облаке над самой землей. Кажется, что он сделан из бумаги, присыпанной кристаллами борной кислоты. Он похож на одурманенного или одержимого, и при виде его собратья сначала разбегаются, а затем вновь собираются на крыше, где он уже не сможет их побеспокоить.

Впрочем, ему никто не нужен – у него есть Голод, верный спутник, который всегда следует за ним, заставляя его бодрствовать среди волшебных, мерцающих видений, – Голод, его отравка, его наркотик, самый лучший, самый надежный и самый дешевый из всех разновидностей дурмана, который легче всего приобрести.

## КРОВАВЫЙ ДОЖДЬ

Было пять часов вечера; множество женщин в светлых платьях спешили туда-сюда у вокзала Монпарнас, – как вдруг в воздухе что-то громко прошелестело, будто взмахнули громадной кистью, сырой и влажной, и в следующий миг каждый из прохожих обнаружил на своем костюме или платье красные капли, похожие на брызги крови. Все в недоумении оборачивались по сторонам, смотрели вверх. Кто-то придумал объяснение, впрочем, не встретившее особого доверия, – что художник, занятый реставрацией фриза над центральным входом, перед окончанием работы решил стряхнуть со своей кисти остатки сурика. Однако всем хотелось, чтобы это оказалась кровь, – и полицейские сбились с ног, но так и не смогли отыскать дорогу к небесным вратам.



Младший брат, накопив карманных денег, купил себе фотоаппарат и в ближайшее воскресенье повел своих мать и сестру фотографироваться в Булонский лес. Для последних эта церемония превратилась в настоящую публичную казнь. Все трое, но особенно мать и сестра, были невероятно уродливы и унылы – настолько, что привлекли к себе всеобщее внимание. Вокруг них собралась толпа, постепенно становящаяся всё плотнее – зрители напирала в ожидании заветного щелчка. Стыд обеих жертв за своей уродливый и унылый вид перед объективом еще усугублялся тем, что всё происходило на публике – но в конце концов они смирились со своим бесчестьем, позволив фотоаппарату навек запечатлеть их уродство, уныние и эту минуту незабываемого позора.

## БЛУЖДЕНИЯ СОБАКИ

На рю де Дам я увидел, как несчастную слепую собаку сбил с пути ее собственный хвост. Пока она шла обычным шагом, всё было хорошо: она точно выверяла каждое свое движение и сразу возвращалась на прежний курс, стоило лишь ей немного от него отклониться. Но когда она пустилась бежать галопом, задняя часть ее тела, которую при каждом скачке слегка заносило вправо, постепенно увлекла ее вбок, заставив врезаться в стену. Тогда она снова перешла на шаг, и вид у нее был такой, словно она погрузилась в глубокое раздумье. Дойдя до кромки тротуара, она медленно двинулась вдоль него. Но ее по-прежнему обуревало желание пуститься бегом, и, поддавшись ему, она вновь налетела на то же самое препятствие. Девять раз подряд она повторяла свои маневры с одинаковым результатом, и только на десятый, передвигаясь короткими – шаг вправо, шаг влево – зигзагами, смогла рассчитать свою траекторию с такой точностью, что избежала удара о стену, – не избежав, однако, насмешек наблюдавших за ней прохожих, среди которых я был единственным исключением. Я отправился своей дорогой, лишь убедившись, что она нашла свою.

Мужчина утонченной наружности восхищается женщиной с лицом волчицы и волосами архангела. Ногти ее грязны, одежда порвана. Зашить дыры можно было бы парой стежков, но она не хочет с этим возиться. О, небрежность нежности! О, нежность небрежности – может быть, единственная нежность, на которую способна эта женщина. Она жестоко страдает от неизбывной зубной боли, и ее грязноватая левая рука постоянно прижата к щеке, тогда как правой она ласкает живот своего любовника. Ее жемчужное ожерелье фальшивое, но меха – настоящие. Ее наглость – неподдельная, в отличие от любви. Любовь мужчины – искренняя. Самое удивительное, что он, при всей своей утонченности, больше любит в этой женщине ее плебейские руки, чем божественные волосы, и, по-видимому, искренне восхищается ее бесцеремонностью, поскольку ему самому это качество абсолютно чуждо. Для него оно – нечто неведомое, таинственное, и вот именно эту неизвестность, эту тайну он любит, если предположить, что любовь к кому-то – зачастую лишь тайный способ ненавидеть самого себя, не зная о том, и постоянно доказывать себе это, ничего не говоря.

## ЖЮСТ И ЭДОКСИ

Жюст и Эдокси со всей тщательностью оделись для прогулки. Они довольны собой до того момента, как выходят за дверь – но, стоит им оказаться на улице, как они замечают, что на них косятся. В них есть какое-то неуловимое «слишком», и они не могут понять, что именно; они пытаются разглядеть себя в витринах магазинов, потом смотрят друг на друга – что же отличает их от всех остальных? Они не красивее и не уродливее других, одеты не лучше и не хуже – но в них есть что-то излишнее, чего окружающие не могут принять, толком даже не зная, что это. Они сами это чувствуют и смущаются от этого. Есть такие семьи, в которых абсолютно все рождаются с этим непонятным «излишком», отчего никто из посторонних не чувствует себя свободно, общаясь с ними, и сами они ощущают себя в своей тарелке, лишь когда остаются одни. Это непонятное «лишнее», что есть в них, – душа.

## САМАЯ КРАСИВАЯ СТАТУЯ ПАРИЖА

Старая женщина, прямая как палка, с абсолютно непроницаемым выражением лица сидит неподвижно, поставив ноги точно на середину квадратного красного коврика размером лишь чуть побольше них – опасаясь, как бы они не замерзли на каменных плитах бульвара Гренель, – и присматривает за пятью или шестью утюгами, выставленными перед ней в ряд. Она продает их – примерно по одному в два дня.

За весь день, с момента своего прихода утром и ухода вечером, она не совершает ни малейшего движения.

Она восседает прямо посреди широкого тротуара, как самая красивая статуя Парижа.

Если кто-то подходит к ней, собираясь купить утюг, она отвечает только «да» или «нет» и, получив свою скромную лепту, не благодарит.

Но по блеску ее глаз из-под полуопущенных век можно догадаться, что она страшно довольна: она и взялась за эту торговлю только ради того, чтобы окружить себя одиночеством, которое составляет ее единственную гордость.

Почтенная пожилая чета расположилась в омнибусе непринужденно, как у себя дома; никакая публика не может нарушить столь полной интимности и внести разлад в столь идеальное согласие. Они уже давно и навсегда стали единым целым (теперь они в этом уверены – быть может, потому, что каждый отказался от себя ради другого?), и любая толпа лишь прочнее укрепит их союз, еще надежнее отгородив их от остального мира. Ничто для них больше не существует, и сами они существуют не столько один ради другого, сколько оба для двоих – каждый перестал отделять себя от другого до такой степени, что даже перестал его замечать. Каждый словно забыл сначала о присутствии, а потом и о самом существовании другого. Мужчина, погруженный в полудрему, улыбается жене так, как мог бы улыбаться своему отражению в зеркале – и в самом деле, между ними уже начинает проследиваться некое сходство, прообраз будущей неразличимости, что и теперь заметно в их жестах и выражении лиц. Женщина фамильярно кладет свою книгу на колени мужа, как на свои собственные, – и по этой манере всецело располагать друг другом можно догадаться,

что они уже давно толком не разделяют ни своих тел, ни своих душ. Муж иногда путает руки жены со своими, и эта порожденная любовью привычка стирает как по волшебству все прежние различия, все былые тайны. После десяти лет брака медовый месяц вновь восходит над людьми, у которых остались в конечном счете лишь их здоровье, аппетит, сон, гнев, гордыня, самолюбие, любовь. Любовь? Но кого же они любят? Скворца, обезьянку, бассет-хаунда, сиамского кота или горлицу, которые ждут их дома.

## КОРСЕТ

Воскресным вечером, около пяти, в тупике Малакофф какой-то человек вытащил из сарайчика, в котором хранился инвентарь дорожных рабочих, розовый шелковый корсет, медленно расшнуровал его и, вытащив шнурок из петель, сунул его в карман и удалился.

Сначала мы подумали, что это один из тех скряг, которые никогда не выбрасывают даже обрывки веревок. Но нет.

Чуть позже этот человек вернулся, бледный, словно после совершенного преступления, и, вороватым жестом вынув из кармана шнурок, снова вдел его в петли корсета.

С тех пор это повторялось множество раз – человек расшнуровывал и снова зашнуровывал корсет, и мы устали от своего любопытства раньше, чем этот маньяк – от своей мании.



Лебедь упал в сточный колодец и не мог оттуда выбраться, поскольку теснота мешала ему расправить крылья – он лишь тщетно бился ими о стены весь день. Множество людей с факелами собрались вокруг узилища мученика, иногда бросая ему что-нибудь съестное. В конце концов, отчаявшись или смирившись, он полностью отказался от еды и приготовился умереть – скорее от тоски, чем от голода и холода. Он уже без всякого гнева смотрел на стены своей темницы, которой, возможно, предстояло стать его могилой, и оставался неподвижным.

Лишь на рассвете второго дня, когда одна старая дева-англичанка пообещала двести франков тому, кто его спасет, нашлась лестница, достаточно длинная, чтобы добраться до дна колодца, и какой-то человек, до такой степени заинтересованный в деньгах или до такой степени несчастный, чтобы согласиться на это добровольно, – раздевшись донага, спустился в гнилую воду и на своих плечах вытащил на солнечный свет полумертвую птицу.

Молитва лебеда, должно быть, звучала так: «Я не создан для этой клоаки, я не могу жить в сточной воде! У меня за спиной крылья, о которых я

сейчас могу только догадываться, – искалеченные, отяжелевшие, трепещущие, горделивые, бесполезные. Они не слишком слабы, чтобы поднять меня в воздух. Напротив, именно их размах меня стеснил, и мой собственный вес не дал мне подняться из бездны, в которую я рухнул. Господи, тебе ведь так легко заменить эти крылья, что Ты мне даровал ради своей славы. Просто вспомни, Господи, что я лебедь!»

Какая-то внутренняя дрожь, словно предвестник близящегося вдохновения, нарушает его обычно спокойную походку. Он делает шаг вперед, назад, поворачивается, возвращается на прежнее место, небрежно подбирает клювом с земли белое перышко и проходит с ним три шага, более размашистых, чем предыдущие, потом бросает его и замедляет шаги, высоко поднимая лапы согласно внутреннему ритму, о котором догадываешься, наблюдая со стороны, – затем вдруг резко взлетает в воздух или наклоняется к земле, чтобы поднять какой-нибудь мелкий предмет, с таким видом, будто отыскал важную потерю, и, едва подобрав, снова бросает. Он поднимает и опускает голову, подмигивает то одним, то другим глазом, оборачивается, потом внимательно смотрит на кончик своего клюва, на котором ветер шевелит едва заметный пушок. Его крылья то распахиваются, как веер, то покачиваются, как розовая балетная пачка, и он кружится, откровенно любуясь собой, выписывая затейливые, одновременно нелепые и торжественные фигуры. Его движения, паузы, малейшие жесты подчинены некоему тайному распорядку: они как будто заранее продуманы,

расписаны, классифицированы, пронумерованы, порой дублированы – словно их специально разработал неизвестный хореограф и сопровождает невидимый оркестр.

## ГРИФЫ

77

Они медлительны – любое их движение, их шаги, их сумрачный полет торжественны, почти церемониальны. Их траурные крылья, подобные облачениям священнослужителей, имеющих дело со смертью, придают им некое зловещее величие. Кажется, что при ходьбе крылья служат им опорами, словно костыли – упираясь ими в землю, в которой увязают их когти, грифы неторопливо приподнимают свои массивные тела и одновременно плотнее заворачиваются в темные мантии, чтобы скрыть уродливые лапы.

## ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОШАДКИ

Тамбурин с тремя бубенцами, браслеты, ожерелья, длинные висячие серьги и собственный смех – вот весь оркестр веселой пьянчужки, вращающей колесо ярмарочной детской карусели на площади Инвалидов.

Маленькие разряженные щеголи едут в каретах, запряженных зайцами, а маленькая королева в горностаевой мантии – в ореховой скорлупке, которую везет кошка. Рыжеволосый смельчак, одетый в зеленое, едет верхом на слоне. Юный Ганимед, которому не терпится взмыть в небо, попускает орла. Труднее всего тем, кому пришлось ехать на верблюдах, – они судорожно стискивают онемевшими от страха ручонками жесткие розовые ленты упряжи, которые их ранят. И вот один из этих наездников выскальзывает из седла и едва не падает – но, не растерявшись, успевает просунуть ногу в широкое кожаное стремя, потом снова усаживается в седло и горделиво выпрямляется, словно воскресший Мазепа.

Сидящий в автобусе жалкий и невзрачный ребенок одет для первого причастия. На руках у него светлые перчатки, и это заставляет выглядеть еще более нелепыми и уродливыми его шляпу, пальто и каждое его движение.

Рядом с ним сидит его деспотического вида мама, которая, судя по всему, догадывается, что думают окружающие, и внезапно с раздражением произносит, обращаясь к сыну:

– Ты что, в этих перчатках и спать собираешься? – хотя очевидно, что именно она заставляет его их надевать при каждом выходе из дома и не разрешает снимать до самого возвращения.

Ребенок медленно стягивает одну перчатку и оставляет другую, но теперь выглядит еще более нелепо – с двумя белыми перчатками и одной обнаженной грязной рукой.

**БАШНЯ СЕН-ЖАК**

Девочка лет десяти сидит в автобусе на коленях своей бабушки и внимательно смотрит на всё, что та показывает ей из окна.

– Вот смотри, это башня Сен-Жак.

– А когда она упадет? – спрашивает внучка.

– Откуда же мне знать?

– Жалко. А то можно было бы пойти посмотреть.



На искусственном пруду в Тюильри дети отправляют в плавание свои кораблики с белыми парусами, а другие на эспланаде запускают воздушных змеев.

Мимо проходит почтенного возраста женщина в трауре, одна, со скрещенными на груди руками.

Один из детей внимательно смотрит на нее, потом с серьезным видом спрашивает:

– А почему эта дама ни во что не играет?

– О, конечно, играет, мой дорогой! – отвечает мать. – У нее есть и свои кораблики, и воздушные змеи. Просто ты еще слишком мал, чтобы их увидеть.

## ПРИНОШЕНИЕ ДАРОВ

Ребенок, желая разделить свой хлеб с ангелами на фронтоне церкви Возрождения, тщетно протягивает им отломанный мякиш, словно дароприношение.

– Глупый, ты разве не видишь, что это просто камни? – говорит его безбожница-мать.

Под проливным дождем проходит странная процессия. Разведенный отец получил свои законные несколько часов, чтобы увидеться с дочерью, и повел ее на прогулку в обществе бабушки и тети. Бабушка богата, но, что поделать, первый ее любимец – домашний песик, поэтому сейчас главный в этой компании – он. В сущности, все четверо выгуливают именно его.

Когда бабушка делает шаг вперед, песик не хочет следовать за ней, поэтому все останавливаются и ждут, а когда бабушка, в свою очередь утомившись, отказывается идти дальше, песик рвется вперед, и все удерживают его за поводок.

Наконец бабушка говорит: «Чем дальше мы идем, тем больше сбиваемся с пути». А кто-то из прохожих восклицает: «Вы только посмотрите на эту собаку, которая ведет целое семейство на поводке!»

## МЕРКУРИЙ

Только что в автобусе напротив меня сел юный итальянский старьевщик, под чьей рваной рубашкой скрывается тело античной статуи.

Я прошу позволения увидеть его без покрова, и он небрежно-изящным жестом приподнимает рубашку, открывая мне торс Меркурия (тогда как я ожидал увидеть скорее Аполлона). Затем, словно в подтверждение моих мыслей, с легкой насмешкой произносит:

– Месье любит предметы искусства.

Я говорю вполголоса, скорее себе, чем ему:

– Как мало нам нужно для того, чтобы стать богами.

Со своей кровати я вижу в окно только небо и верхнюю часть крыла своего дома. И вот прошлой ночью, около двух часов, когда я работал, полусидя в постели, я случайно поднял глаза и увидел напротив, на высоте шестого этажа, две болтающиеся голые ноги. Я продолжал писать. Они почти без усилий поднялись выше, и в следующий миг я увидел их на перилах балкона седьмого этажа, в то время как руки ухватились за фриз крыши. Теперь у меня не оставалось сомнений, что человек вскарабкался по водосточной трубе. Вглядевшись, я увидел, что на нем вовсе нет одежды. Один прыжок – и он окажется здесь, прямо посреди моей комнаты. Я замер. Может быть, такой вид и образ действий в столь поздний час объяснялись тем, что направлялся он не ко мне, а к своей любовнице, живущей по соседству. Но нет – он прошел вдоль карниза мимо раскрытого окна, не задерживаясь. Чтобы лучше его видеть, я погасил свет. И вдруг он бросился в пустоту – но уже в следующий миг, живой и невредимый, оказался в том же самом окне, из которого недавно выбрался. Кто же это был? Акробат, совершавший столь экзотическую ночную прогулку ради собственного удовольствия? Грабитель? Убежденный нудист? Лунатик?

На следующее утро консьержка развеяла мои подозрения.

– О нет, это наш авиатор, – с некоторой гордостью произнесла она. – По ночам он выбирается подышать свежим воздухом.

Кукла грязна и потрепана, но столь огромна и облачена в столь роскошные, хотя и засаленные одеяния, что маленькая девочка из бедной семьи просто влюбилась в «эту диковину», слишком красивую для нее, – как будто под слоем грязи она различает некое сверхъестественное существо, которое лишь она призвана увидеть, которое позволяет лишь ей, единственной из себе подобных, прикоснуться к своей мечте.

Однако ее мать, вернувшись вечером с работы, первым же делом вырывает из рук дочери эту райскую добычу и швыряет в помойную яму. Для ребенка этот поступок – загадка. «Но, мама, – восклицает она, – ведь если бы эта кукла была новая и чистая, ее никто не бросил бы на улице, а если бы ее не бросили, я бы ни за что на свете ее не нашла и не смогла бы с ней играть! Так зачем же сердиться на то, что она грязная? Теперь мне даже хочется, чтобы она была еще грязнее – тогда никто на нее не позарится, и я каждый день буду приходить к помойной яме, чтобы ее навестить».

## ДРИДРИ

Сегодня утром на Тронной ярмарке я узнал сорванца из Шаминадура<sup>1</sup> – он катался на деревянной лошадке. Вечером я снова его встретил – он был одет в красное, словно церемонимейстер этого феерического мира, играющего и поющего. Он расставлял зажженные фонарики на прилавках со стеклянными фигурками животных, отчего те сияли и переливались, и раздавал эти фигурки подвыпившим клеркам, в зависимости от того, нравились ему или нет их физиономии: одному свиню, другому пони, третьему лебеда, четвертому льва. Настоящий Бог этого ярмарочного Судного дня! Даже сам Дридри не мог бы держаться лучше.

---

1 Так Марсель Жуандо называл свой родной город Герет. Дридри – персонаж цикла книг о Шаминадуре.



Мужчина и женщина медленно бредут по улице Руа-де-Сесиль. Оба несут мешки: один набит картошкой, другой – каштанами. Женщине на вид лет сорок, мужчине – тридцать. Мешок с каштанами, который несет женщина, меньше и легче, но она и слабее мужчины; к тому же, хотя пьяны оба, она – явно больше. Да и походка у нее такова, что увеличивает риск падения: она идет, задрав голову, ступая только на пятки и не сгибая коленей. И вот в какой-то момент, натолкнувшись на мелкое, даже не различимое препятствие, она спотыкается и падает. Мешок соскальзывает с ее плеча, каштаны рассыпаются, часть из них скатывается в водосточный желоб. Другой на месте ее спутника рассердился бы, но он улыбается. Женщина хохочет во все горло. Оба начинают подбирать каштаны. Затем мужчина вновь взваливает на плечи свой мешок с картошкой, но теперь добавляет к нему и мешок с каштанами. Женщина слишком пьяна, чтобы протестовать. Они продолжают свой путь, не говоря ни слова, она по-прежнему идет, задрав голову и не отрывая пяток от земли, разве что чуть быстрее – даже быстрее мужчины, которого она обгоняет. Через несколько шагов он оклика-

ет ее и говорит: «Каскетка съехала мне на глаза». Его спутница неловко оборачивается, подходит к нему, протягивает руки и, вернув головной убор на место, не отстраняется – на какое-то время она замирает на месте, с неожиданно серьезным видом вглядываясь в его лицо, и вдруг с почти материнской нежностью, к которой примешивается бесконечная благодарность, она изящно и слегка иронично поводит плечом, а затем целует мужчину в обе щеки на глазах всего света, – после чего снова отворачивается и идет вперед, прежней ковыляющей походкой, не сопроводив свой восхитительный поступок ни единым комментарием.

Бродяга примеряет пару желтых ботинок, вышедших из моды, но на вид совсем новых. Увы, они ему малы, и он оставляет их на парапете ограждения железной дороги. Подходит другой бродяга, без труда надевает их и удаляется, как во сне, на ногах богача. Его собственные башмаки, которые он оставил там же, находит третий бродяга, надевает их вместо своих, а свои оставляет – и вот так получается, что на невысоком парапете железной дороги, напротив моего окна, всегда стоит пара ботинок, и всякий раз они другие.

\*

После похорон дальние родственники и знакомые покойных веселы как никогда – покинув скорбящую семью, они частично избавляются от траурных облачений и, расточившись по террасам бульварных кафе, стремятся поскорее забыть о том жестоком душевном смятении, которое им недавно пришлось испытать, – поэтому думают лишь о том, чтобы найти хоть что-то комическое в похоронных процессиях и чужих смертях.

4 августа, очень жарко. Рядом со мной завтракает какой-то человек, но, судя по всему, он не голоден. Он стремится лишь к одному – утолить жажду. С самого начала завтрака он думает только об этом и не соблюдает никаких ритуалов, относящихся к еде. Каждый раз, когда к нему приближается официант и он заказывает что-то, он обязательно упоминает о кофе. «Процедить?» – спрашивает официант. – «Да, конечно! И приготовьте его прямо сейчас, чтобы я выпил его холодным. Добавьте немного льда». – «В клубнику?» – «Нет, в кофе. И еще я хочу, чтобы его налили в бокал. Нет, не в этот – в большой бокал на ножке». С одержимостью садиста он готовит будущую мизансцену, добиваясь, чтобы она была идеальна. «Вы положили сахар?» Можно подумать, он вовсе не собирается пить этот кофе, предпочитая умереть от жажды – но это должна быть самая сладкая смерть.

Ребенок из воинской части обедает в ресторане со своим отцом, унтер-офицером, который учит его, как вести себя за столом, – хотя сын и без того уже держится на удивление хорошо для своего возраста.

Он сидит с суровым видом, не говоря ни слова, за исключением тех случаев, когда заказывает очередное, каждый раз слишком тяжелое блюдо: свинину с тушеной капустой, мясное рагу с бобами, мясо по-бургундски, паштет из гусиной печени – и какое же презрение к своему «унтеру»-отцу читается на детском лице этого будущего генерала!

\*

Двое вьетнамцев, которые выглядят одинаково молодо, хотя это отец и сын, идут рука об руку по бульвару Гренель, слегка покачиваясь, будто при-танцовывая, и широко улыбаясь. Отцу, вероятно, лет сорок пять, сыну – двадцать пять. Такое добродушие в нашей части континента – настоящее чудо!

93

\*

В течение часа, проведенного в церкви Сен-Франсуа-де-Саль, я видел только изображение дерева на расписном потолке и два пустых кресла меж двух горящих свечей у алтаря.

Жених и невеста, которых ждали, не пришли.

Но это дерево, олива, чарует меня до сих пор.

Когда зажегся свет, и я заметил, оторвавшись от созерцания скромного Рождества, что жених и невеста решили избежать своей участи – какое это было счастье для них и какое разочарование для меня!

\*

Во время мессы мне видна с балкона только рука господина ректора, странствующая среди зажженных свечей и живых лилий – кажется, будто в небе среди звезд каким-то чудесным образом оказалась рука громадного колосса, которую он только что вынул из кармана.

\*

Могильщики у церкви Сент-Огюстен развлекаются, срывая куски погребальных тканей, развешенных над папертью, – не подозревая о том, что каждое из этих длинных тяжелых полотнищ может в любой момент обрушиться на них, окутать и задушить.

94

\*

Над площадью Сен-Фердинан летит бабочка – так высоко, что ее не видно в лучах солнца, но по мостовой скользит ее тень, которую какая-то бледная тощая женщина, движимая то ли странной галлюцинацией, то ли закоренелой привычкой к пакостям, пытается догнать, чтобы раздавить.

\*

Спасаясь от кредиторов, я бросился в поисках убежища к Венере Милосской. Перед ней стояла лишь одна женщина, англичанка, пытавшаяся скопировать ее позу, чуть согнув левую ногу в колене и опираясь на мысок. Ее муж без особого восторга сравнивал их, жалуясь лишь на то, что у Венеры нет рук.

\*

На Кэ-о-Флёр, в тени кроны чахлого дерева, которой едва хватает, чтобы укрыть разве что их ноги, трое пьянчуг, даже не давая себе труда полностью проснуться, непрерывно отхлебывают вино из бутылки, чтобы утолить жажду, – но солнце, от которого они полагают себя защищенными, тут же распяляет ее вновь.

\*

Ортопед, живущий на рю де л'Эшоде, выставил у себя на окне и на балконе гипсовые руки, ноги и торсы. По вечерам льющийся из окон слабый свет делает их похожими на добычу людоеда, развешанную вокруг его логова.

\*

У этих двух скромно одетых женщин всего два франка – и вот с одной монетой на двоих они всё утро перебегают от одного рыночного прилавка к другому, словно собираясь купить всё, – прежде чем вернуться домой с хлебом.

\*

В Сен-Жермен-де-Пре есть скульптура из белого мрамора, изображающая положение во гроб. Сама по себе она ничем не примечательна, но кто-то положил на грудь Христа бумажную красную розу – и вот перед нами шедевр.

\*

На бульваре де ла Виллет безногий калека растягивает аккордеон, зацепив его за уцелевший обрубок одной руки и монотонно наигрывая весь вечер бесконечную мелодию из трех пронзительных повторяющихся нот двумя единственными пальцами другой.

\*

Луна, как золотая маска, поднимается над Марсовым полем. Один арлекин и два пьеро выходят из тесно растущих зарослей миндальных деревьев, двери окрестных домов то и дело распахиваются, исторгая наружу других, не менее фантастических персонажей. Бедняки спрашивают себя, каким безумным вихрем закружило весь город. Сегодня вечером танцуют в Опере. Что до меня, я уйду подальше от света, чтобы в тени сжимать в объятиях чью-то наготу.

\*

Десять тысяч эгоизмов движутся по бульвару Клиши. Меня охватывает страх при виде стольких неповторимых, одиноких, слепых светил, вращающихся, не сознавая того, вокруг Бога. Под этим гримом, под слоем пудры и рыжим париком не таится ли преисподняя? И что за вечность пылает за стеклами роговых очков этого маленького, обглоданного жизнью человечка в слишком широком зеленом пальто?



В среду, 7 ноября, я был на кладбище Пантен. Когда мы с Вероникой возвращались, уже совсем стемнело; и вот в ворота въехал задрапированный белым катафалк, за которым никто не шел. Нам пришла мысль последовать за ним. Это оказалось нелегко – он катился довольно быстро. Однако, едва мы сделали шагов пятьдесят вдоль безлюдной центральной аллеи, какая-то женщина внезапно появилась у нас за спиной и пошла в том же направлении – медленно, будто едва волоча ноги, в полном одиночестве. Очевидно, она хотела нагнать повозку, но это ей не удалось. Услышав ее рыдания, мы замедлили шаги и пропустили ее вперед. Мы были слишком растеряны, чтобы осмелиться к ней подойти, но решили по крайней мере проводить ее. Наконец, прочитав на наших лицах немой вопрос, она рассказала нам, что вместе со своей десятилетней дочерью заболела и попала в больницу, где малышка через некоторое время умерла. У нее самой даже не было времени, чтобы рассказать о случившемся своим хозяевам – единственным близким людям на всем свете, поэтому она пришла на похороны совсем одна. Все ее родственники давно умерли. Но больше всего ее угнетало то, что она была одета в чужие вещи –

ее собственные ей должны были вернуть только при выписке из больницы, а сегодня она тайно отлучилась лишь благодаря сообщничеству медсестер, которые одолжили ей чужое платье, «чтобы малышку хоть кто-то проводил в последний путь». Мы подхватили ее под руки с двух сторон, а потом все втроем шли еще добрых три четверти часа среди надгробий в почти полной темноте. Смогла бы эта бедная женщина, обутая в слишком большие для нее сабо, без нашей помощи отыскать могилу, которую мы заметили еще издалека, в свете фонарей похожую на маленькую бездну? Уже на подходе к ней нам пришлось сначала подняться на дощатый настил, а потом пересечь водосточную канаву по хлипким деревянным мосткам. И вот наконец мы увидели позолоченный белый гробик, похожий на конфетную коробку, который могильщики передавали друг другу, шепотом повторяя его номер – сто девяносто семь, – пока наконец он не скрылся в темной глубине. Три цифры, вырезанные на деревянном кресте, теперь должны были осенять могилу вплоть до Страшного суда.

Бедная мать в последний раз обращалась с нежными словами к тому, что отныне было спрятано, запечатано внутри: «Радость моя, сокровище мое, ты была такой красивой, а теперь я тебя больше не увижу!» Когда она говорила «моя дочь», в ее голосе все еще звучала материнская гордость – но почти сразу же она впадала в еще более глубокое отчаяние. Мы вместе с ней прочитали заупокойную молитву, после чего увели ее. Ко всем ее горестям прибавилась еще одна забота – медсестра и сиделка напоследок дали ей поручение: «Когда будете возвращаться с похорон, зайдите к Потэну и на рынок в Отель-де-Виль, купите нам шоколада и шпилек для волос».

Было очень рано, и я сам не заметил, как случайно оказался на молу, тянущемся от перехода в Пасси до моста Гренель. Чтобы укрыться от поднявшегося солнца, я попытался спрятаться в нише виадука, но поскольку именно там обычно укрывались несчастные отчаявшиеся самоубийцы, прежде чем броситься в воду, я вскоре заметил, как отовсюду начинают собираться люди и наблюдать за мной. Мало-помалу, сам не знаю как, я настолько проникся состоянием человека, которому захотелось свести счеты с жизнью, что присутствие наблюдателей оказалось для меня очень полезно – оно уберегло меня от поступка, идея которого даже не пришла бы мне в голову, если бы не они.

\*

Утром и вечером я медленно иду вдоль сплошного искушения умереть – вдоль Сены.

\*

Человек стоит на мосту Альма, скрестив руки на груди. Ни в нем самом, ни в его позе нет ничего странного, но сама его неподвижность настолько чужда его молодости и элегантности, что в этот воскресный вечер все прохожие, поравнявшись с ним, невольно замедляют шаг, – словно поддавшись тем же чарам, которые заставили его замереть.

100

\*

Ничего удивительного, что наступает ночь – с самого полудня работающие на набережной штукатуры собирают на себя весь солнечный свет.

\*

Между двумя солнечными кругами, один из которых сияет в небе, а другой – в воде, не видно никакой разницы; грань, отделяющая одну стихию от другой, становится заметной, лишь когда пролетающая над зеркальной гладью чайка на миг касается своего отражения, возможно, скорее ради этой мимолетной ласки, чем ради утоления жажды.

\*

Сена струится медленно, как шелковая лента вдоль лица.

\*

В небольшом, разбитом на отдельные участки скверике возле Нотр-Дам сидит женщина, похожая на царицу Александру. Рукава ее платья напоминают китайские пагоды, жесты полны сурового величия. Но вот она приглашает прохожего – которым мог бы оказаться я – занять место рядом с ней, между Голодом и Жаждой, образы которых, очевидно, будут распалять их воображение в этом Саду Скуки.

101

\*

Белая лошадь угольщика, с ногами, мощными, как дорические колонны, идеально размещенными на четырех сторонах ее тела, везет на спине всю площадь Согласия, а под брюхом у нее в лунном свете проносятся птицы и скользят лодки, нагруженные лилиями.

\*

Я сижу на берегу Сены с видом человека-который-больше-не-стремится-придерживаться-условностей. Эта свобода – единственная, которой я для себя хотел, – живет во мне от начала времен. Но порой она ускользает из моего сердца, и тогда освобождает меня даже в глазах других, расслабляя мое лицо, мои руки, мои мысли.

## ЭЖЕН КОММЮН

На платформе вокзала Орсе семейство Пенсан-грен доверило моему попечению на время поездки, которая должна была продлиться всю ночь на 14 июля, монахиню из Сен-Венсан-де-Поль, юную девушку и мальчика.

Ребенок был так красив, что, взглянув на него, трудно было не вскрикнуть от изумления – и оно становилось еще сильнее при известии о том, что он найденыш. Утонченные черты его лица, изысканность жестов – всё наводило на мысль о потомке княжеского рода.

– О будущем Князе Церкви, – вполголоса добавила монахиня, отвечая скорее себе, чем мне.

Не менее удивительным было и его имя, которое он унаследовал от приемного отца – Эжен Коммюн. Казалось, невозможно отыскать человека, которому оно подходило бы меньше<sup>2</sup>.

Впрочем, и от понтифика в нем было немного. При виде трех церквей, мимо которых мы проехали, он всякий раз крестился, и я подумал, что это уже чересчур, – но увидев четвертую, он показал ей нос.

---

2 Одно из значений слова *commun* – «обыкновенный, заурядный».

Взгляды всех пассажиров нашего купе были прикованы к нему, но он был достаточно умен, чтобы не показывать, что это замечает, – чувствовать, что если ему и небезразлична атмосфера, которую он вокруг себя создает, он не снисходит до того, чтобы открыто этим гордиться, – и таким образом, становясь еще более достойным восхищения, получает от него вдвое больше удовольствия. Я наблюдал за ним, когда он восторгался Орлеанским собором и Луарой, освещенными множеством огней по случаю праздника. Его низко расположенные уши напоминали два совершенных по форме цветка, идеально гармонирующих друг с другом, овальное лицо отличалось безупречной правильностью черт и той непостижимой красотой, чей отблеск придает нечто таинственное даже уродству других.

Было очевидно, что Бог неизменно пребывает с ним. Он был невинен – но в нем не было ни робости, ни дикости; он был сдержан ровно в той же мере, что и вежлив; он был весь – ясность и весь – загадка. Меня не покидало ощущение, что я, оставаясь в своем нынешнем возрасте, путешествую вместе с собой-ребенком – который, однако, был ребенком больше по наружности, чем по глубине души. Сам я в детстве никогда не чувствовал той уверенности в общении с другими, которую дает красота, ни твердости, которую дает такая уверенность. Меня уже начинал одолевать страх потерять свою веру, которая была моим единственным достоянием, и время от времени я вынужден был воссоздавать заново свои достоинства, о которых поспешно вспоминал, даже не заботясь о том, насколько они соответствуют действительности.

В какой-то момент он разговорился с одним из новых приятелей, подростком лет четырнадцати, севшим в поезд позже нас, – речь зашла об одном монашеском ордене в Динане.

– И вот, в этом ордене такой порядок, – рассказывал он, – что каждый вступающий в него сковывает себе ноги тяжелой цепью, от которой настоятель освобождает его только после смерти.

104

Насколько же ясно одно только упоминание этой детали свидетельствовало о том, что это говорит ребенок!

Когда они вместе с нашей спутницей, юной девушкой, ушли играть в коридор, монахиня сказала мне:

– Ах, если бы вы знали, месье, каково это – воспитывать вот такое юное создание до пятнадцати или двадцати лет, а потом однажды отпустить его в мир. (Она говорила о девушке, своей подопечной.) Когда, в каком состоянии он вернет вам его обратно? И особенно это касается наших воспитанниц – они из бедных семей, им всем приходится поступать в услужение. Ах, месье, когда они возвращаются и рассказывают мне о своих бедах – если смогут остаться несломленными, – я с трудом удерживаюсь от того, чтобы не встать перед ними на колени. Может быть, так и следовало бы поступить – преклонить колени перед ними.

«Но ведь именно это было бы по-христиански, – подумал я, – опуститься на колени перед теми, кто согрешил. Они ведь несчастнее нас. Христос так и поступал».



В трамвае, идущем по маршруту Отей – Сен-Сюльпис, девушка лет семнадцати, по виду – монастырская послушница или готовящаяся ею стать, сопровождает монахиню, которой постоянно улыбается, чтобы все видели, в какой она хорошей компании (что для нее редкий случай), но та, напротив, демонстративно на нее не смотрит, не хочет ее знать, не хочет знать никого – ей больше нравится делать вид, что она путешествует одна, «как дама».

Судя по всему, малышка только что выписалась из больницы, куда ее привело легкомысленное поведение, и теперь пытается вымолить улыбку милосердия у своей неприступной покровительницы, которая уже позаботилась о ней, набросив ей на плечи нелепое черное пальто, слишком широкое для нее и заставляющее ее страдать сильнее, чем она страдала бы от холода.

Монахиня, закутанная в три слоя тряпья, обладает холодным безличным достоинством всех людей в униформе, к которому добавляется самоуверенность, присущая ей от природы, чем-то сходная с той, по которой сразу распознаешь в общественном транспорте мелкую рантье, держательницу акций транспортной компании.

Когда она вынимает из рукава часослов, в обложке из той же шерстяной ткани, что и ее собственное облачение, ее послушная тень считает себя обязанной тоже достать что-нибудь из кармана, и вынимает четки, которые неуверенно перебирает, не зная, что говорить. Смущение бедняжки еще усиливается, заставляя ее для вида достать из сумки газету – это религиозная газета, чье благочестие, отражаясь на профаническом лице, придает ему выражение, близкое к отчаянию. Кажется, что эта девушка больше никогда не сможет видеть, слышать, трогать ничего, что не «божественно». Она этим одержима. Газету она держит вверх ногами. Она говорит себе, что это неважно, что ей всё равно, как читать, потому что в любом случае она испытывает благоговение, и всё равно, как жить, потому что, источая лицемерие, словно обильный пот, она живет лишь милосердием других – и это лицемерие, вкупе с милосердием, взаимно отягощая друг друга, отравляют ей жизнь.

Однако через несколько минут, повинувшись какому-то смутному, но неумолимому побуждению, которому она не в силах противостоять, – может быть, для того, чтобы выглядеть не так смешно со своими бесполезными четками и перевернутой вверх ногами газетой (которую достаточно было бы просто повернуть как положено), или, напротив, для того, чтобы в ее сумке не осталось больше ни одного средства, которое она не использовала бы себе во вред, – она тоже достает часослов, но у нее он без обложки, без закладки, и она открывает его наугад, на первой попавшейся странице, где ни одна строчка не начинается с нового абзаца. Но какая ей разница? Ее потерянный взгляд блуждает между строк, и она всё больше

убеждается в том, что она никчемное создание, которое не может ни улыбаться, когда захочет, ни перебирать четки или склоняться над книгой без притворства. Тогда она начинает разглядывать пассажиров поверх страниц, и поскольку прямо перед ней стоит какой-то отвратительный тип в дешевой одежде из «Бон Марше», она думает о том, как сегодня же вечером ускользнет из монастыря, чтобы во второй раз отдаться кому попало, а после, конечно, будет страдать или даже умереть от отвращения – но, по крайней мере, ей не придется лгать.

## СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ БРОДЯГА

Этим утром на рю де Севр я был удивлен видом одной пары, которую составляли старая монахиня из Сен-Венсан-де-Поль и человек из тех, кого уже давно не встретить в Париже, – бродяга с большой дороги, бродяга былых времен, sentimentalный бродяга того образца, что уже вышел из моды, с лицом монаха и его же вкрадчивыми жестами. На нем были коротковатые штаны, не доходившие до щиколоток; его ноги, обмотанные длинными полосками ткани, были втиснуты в деревянные башмаки. Но самой примечательной деталью был огромный короб на кожаных ремнях, который он нес за спиной, почти скрытый синей гусарской пелериной, наброшенной поверх него, что придавало этому славному человеку вид бескрылой птицы. Он был лыс, но вряд ли старше тридцати. В нем чувствовался какой-то изъян, более серьезный, чем несчастья, пришедшие извне. Однако даже сопля, застывшая, как сосулька, на его усах, не создавала впечатления нечистоплотности (хотя и вызывала отвращение), – скорее, наводила на мысль о том, что у него нет носового платка, отсутствие которого является самым первым признаком нищеты.

В нем можно было за десять шагов распознать притворщика, но при более внимательном взгляде вы постепенно замечали проблески искренности, пробивающиеся через все ужимки, и это не могло вас не тронуть.

Я последовал за ним, когда он попрощался с монахиней, напоследок благословив ее двумя сложенными воздетыми пальцами, словно странствующий проповедник, в обмен на несколько звонких монет, которые она ему отсчитала. Он уже готовился взять в оборот появившегося священника («Специализируется на духовных лицах?» – подумал я) – однако тот с первого взгляда его раскусил и безжалостно прогнал. Тогда я подошел к нему. «Приветствую, мой друг. Вы что-то ищете? Чем я могу вам помочь?» – «О, месье, благодарю за вашу доброту, – отвечал он, – всё очень просто: я в нужде, я, что называется, «в несчастье». – Но, произнося эти слова, он улыбался, словно сам с трудом мог заставить себя в них поверить – как если бы соглашался признать себя несчастным только для того, чтобы со мной не спорить и меня не огорчать. – Если я в основном обращаюсь к служителям церкви, то это только потому, что само их предназначение обязывает их помогать таким, как я. Они сделали мне столько плохого и столько хорошего...» С этими словами он провел рукой по лицу, словно хотел таким образом заново вспомнить его, за неимением зеркала. «Видите, как померкло мое доброе солнце – вот что делает меня особенно несчастным. – И тут он зарыдал. – Ах, месье, когда-то давно я так тщательно ухаживал за собой, я был даже кокетлив. Видела бы меня сейчас моя бедная мать!.. Во сколько мне обойдутся стрижка и бритье в таком большом городе, как

этот? Я так мечтаю побриться, чтобы мое солнце прояснилось. Ведь лицо, месье – это солнце тела, и если оно не светит, то всё тело пребывает в упадке. Сестра дала мне славных двадцать су, но готов поспорить, что этого будет недостаточно. Конечно, у меня в башмаке есть бритва, но не могу же я расположиться прямо посреди улицы и бриться перед витринным стеклом. Меня сочтут слишком большим оригиналом...» – «И куда же вы направляетесь?» – «В Кламар, месье». – «А что вы собираетесь там делать?» – «Наняться садовником к добрым Школьным братьям,<sup>3</sup> моим знакомым. Это сезонная работа. Я останусь у них до лета, а потом пойду дальше. Видите ли, когда-то я был послушником у святых отцов в Брюсселе. С тех пор я привык к монахам. Я знаю все их повадки, и с ними мне сподручнее, чем с другими. Вы скажете, месье, что мне бы лучше было сохранить рясу, чем носить вот эту пелерину. Да, конечно, но однажды мне захотелось жениться и завести детей. Все мои несчастья и начались с этого брака».

Не знаю, почему, но в этих «несчастьях» мне явственно послышались «преступления».

Его лицо было прямо передо мной, и я внимательно его разглядывал: на удивление морщинистое лицо для еще не старого человека, словно пересеченное следами множества болезней и пороков. За его плечом как будто реяла тень жандарма, не отступавшая от него ни днем ни ночью, и в конце концов я решил, что, скорее всего, он недавно вышел из тюрьмы. Едва лишь я собрался, предварительно извинившись за свою нескромность, продолжить свои расспросы, как он меня

---

3 Школьные братья, или Братья христианских школ – монашеская конгрегация, основанная в 1684 году.

перебил: «Напротив, месье, мне даже льстит ваш интерес, и я сразу понял, стоило мне вас увидеть, что какую-то часть нашего пути, пусть даже совсем короткую, мы пройдем бок о бок – раз уж судьба свела нас этим утром на рю де Севр. Разве что вы хорошо одеты, а я очень плохо. Скажите, а вы случайно не были послушником в монастыре? Где, если не секрет, в каком именно? Что до меня – теперь уж ничего не поделаешь, я больше не могу оставаться на одном месте. Стоит задержаться где-то на день-другой – и вот уже тянет идти дальше. Я бретонец, это ведь заметно? Мне бы стоило отправиться в море. Зря я этого не сделал. Хотя теперь почти то же самое. Земля, как вода, бежит под моими ногами. Ах, видели бы вы мои ноги, месье – у вас бы сердце кровью облилось. Они тоже в крови, все в крови. Невозможно увидеть их и не заплакать. Я обматываю их тряпками, ремнями, как могу – бедные ноги Иисуса! – и запихиваю в эти башмаки, чтобы больше не видеть. Когда я иду, то уже не чувствую боли. Чем быстрее я иду, тем меньше они болят, а чем больше начинают болеть, тем быстрее я иду. Я не чувствую себя несчастным в этот момент, потому что вы говорите со мной, потому что у меня довольно большой кусок хлеба в кармане и к тому же двадцать су, полученных от благочестивой сестры. Но когда вы меня оставите, мне будет тяжело, и придется идти дальше... Это Париж, здесь красиво, здесь есть «Бон Марше», но лучше я туда не пойду. Если я туда пойду, меня оттуда выгонят. А если я зайду к брадобрею?.. Увы, месье, для нищих брадобрею нет». Закончив свою речь, он фамильярным жестом положил обе руки – округлые, изящные, чуть бледные, чертовски церковные – на мою. Я

деликатно убрал их – не из отвращения и не из страха чересчур поддаться жалости, скорее, из почтения, которое постепенно росло во мне, каким бы неправдоподобным это ни казалось, – по мере того, как на грязном, изможденном, почти подбострастном лице этого человека я всё явственнее различал не клеймо позора, а отблеск света.

112

Я дал ему немного денег и пошел своей дорогой. Пройдя всего несколько шагов, я обернулся – но этот человек каким-то непостижимым образом уже исчез. Поблизости не было ни парикмахерской, ни бокового проулка, куда он мог бы свернуть, – только рю де Севр, абсолютно прямая. Наконец я его обнаружил – но он был уже далеко, поскольку шел очень быстро, так быстро, что я едва мог его различить. Но вот он, в свою очередь, обернулся и увидел меня, воздел правую руку – прощальным и одновременно благословляющим жестом.



У нее величавый вид, присущий женщинам, которые когда-то были красивы, богаты, могущественны, а потом утратили и свое состояние, и свой рассудок, сохранив лишь горделивую манеру держаться и отчасти силу духа. Их бывшая элегантность остается с ними, сопровождая их, как почетный эскорт. Она сама выкраивает себе шелковые блузки из своих девичьих платьев, лет тридцать провисевших у нее в шкафу. На ее чулках зияют такие дыры, что ноги выглядят почти голыми; только на одной из ее туфель сохранилась бриллиантовая пряжка. На шляпе еще осталось несколько перьев райской птички, но поля изъедены крысами. Кольца и браслеты немалой цены украшают ее грязные руки.

\*

Она заказывает кофе и бриошь, усевшись на террасе бара «Отель-де-Виль», почти напротив меня, и вскоре перед ней на столе остается лишь сифон для газированной воды. И вот я вижу, как она берет монету и отправляет в рот – в тот самый

момент, как появляется третий по счету продавец «Энтрансижан». Она окликает его, покупает газету, и вскоре я замечаю, как вместо того, чтобы читать, она украдкой разрывает страницы в мелкие клочья и ест.

114 Затем она наливает себе в чашку немного сельтерской воды. Вокруг нее постепенно собираются зрители, и официант явно нервничает. Пытаясь сохранить самообладание, она подбирает кончиками пальцев, испачканных типографской краской, оставшиеся на столешнице крупички сахара и подносит их к губам. Наконец появляется сам хозяин заведения и выпроваживает ее вон.

То ли от того, что взгляд у меня слишком пристальный и жгучий для обычного посетителя кафе, сидящего на террасе, то ли оттого, что я чувствую себя очень близким к этой безумице, нанесенное ей оскорбление ранит и меня. Из моих глаз струятся слезы – как будто меня самого выгнали на улицу.

\*

«Оденься, дочь моя, – говорит она сама себе, чтобы побудить себя к рассудительности. – Надень свою самую красивую шляпу, шелковую накидку и кольца и иди подышать свежим воздухом – как все. Когда вот так сидишь целый день взаперти, одолевают странные мысли. Сходи прогуляйся, и всё пройдет. Тебе больше не придет в голову есть монеты или обрывки газет». И вот она проходит мимо кафе «Отель-де-Виль», так удачно расположенного, на террасе которого несколько гуляк расположились свободно, как у себя дома,

и вволю угощаются всевозможными напитками. Атмосфера всеобщей расслабленности покоряет ее, и она говорит себе, еще более мягко: «Ну, дочь моя, почему бы и тебе не посидеть, как все, на этой террасе и не пропустить стаканчик? Ты ведь никогда не умела жить в свое удовольствие! Дай себе немножко порадоваться, немножко отдохнуть! Будь добрее к себе, и всё пройдет». Однако, едва усевшись, она тут же начинает чувствовать себя чужой, чужеродной, отличающейся от всех остальных посетителей, которые ее окружают, «иной», прибывшей из иного мира. Все на нее смотрят – но что же в ней такого необычного? Она пытается выдать сама себе это ощущение за иллюзию, даже обвиняет себя в предвзятости, в том, что это она сама хочет отделить себя от других, обособиться, – но одновременно всё вокруг и внутри нее отталкивает ее от остальных, заставляя рухнуть в свою маленькую бездну, в свою отверженность. Изолированная от всех на этой террасе, точно так же, как в своей лачуге, она уже подносит монету ко рту, как вдруг появляется разносчик «Энтрансижан». «Дочь моя, – говорит она себе, – купи газету, как все, и пока ты будешь ее читать, ты, по крайней мере, избавишься от забот об этой монете, с которой ты совершенно не знаешь, что делать, и поэтому в конце концов засовываешь ее в рот. Так приятно, должно быть, при ярком свете почитать хронику происшествий и объявления о спектаклях, о которых у тебя появилось печальное обыкновение забывать». Она подзывает разносчика, расплачивается, берет в руки газету, раскрывает ее; тут же осознает, как ей сложно перелистывать страницы и разбирать буквы – она смотрит на них, не читая, смотрит лишь

потому, что убеждает себя: так надо, и притворяется, что читает, точно так же как притворяется, что живет. Какое-то время ей хорошо. Но потом она понимает, что у нее ничего не получается – несмотря на все старания, ей уже не быть как все, это невозможно; всё, что бы она ни сделала сегодня вечером, оборачивается против нее – и то, что она вышла из дома, и то, что она расположилась на этой террасе, и то, что она подозвала разносчика газет, – всё это было одно гигантской уловкой, которую она предприняла, чтобы в кои-то веки не поддаться своей мании – и вот, в конце концов, она машинально, отчаянно, безнадежно, уступая неодолимой логике, предписывающей сделать именно это, – начинает потихоньку отрывать клочки газеты и поедать!

\*

Вот так и ты, Марсель. Когда ты сидишь на террасе кафе, сжимая в губах сигарету, ты хочешь быть как все, но ты напрасно стараешься: ты так и остаешься чужим – здесь, там, повсюду, будь ты наг или облачен в пурпур, который сияет вокруг тебя вопреки тебе и возвещает о твоём появлении, которое уже само по себе означает скандал. В любом другом месте ты будешь таким же инородным телом, как здесь, в кафе «Отель-де-Виль». Увы – или слава Богу – в тебе есть нечто неисправимое по отношению к этому миру, или же в этом мире есть нечто неисправимое по отношению к тебе. О, странное лицо, отражение странной души! Подобно тому, как слепые не могут видеть, а глухие – слышать, ты не можешь получать удо-

вольствие от тех же вещей, что все остальные люди, и даже если бы тебе удалось обмануть других, ты не обманешь самого себя, не обманешь свое безумие.

«Как хорошо было бы выпить что-нибудь, сидя на террасе кафе, как все», – говоришь ты себе и садишься за столик, – но вот твой взгляд становится чересчур жгучим, ты поднимаешься и уже через минуту, не в силах совладать со своей манией, убегаешь, чтобы напиться из сточной канавы.

## ПРОГУЛЯТЬСЯ СО СВОЕЙ ДУШЕЧКОЙ

На площади Сен-Сюльпис женщина буржуазно-провинциального вида, в нитяных перчатках без пальцев, с золотой цепочкой на шее и лорнеткой в руке, в темно-синем костюме и вышедшей из моды шляпке суетится вокруг генерала в штатском. Выглядит она лет на сорок. Он – статный, усатый, невозмутимый, чуть нахмуривший брови, чтобы придать своему взгляду суровости – которая на самом деле ему чужда, о чем свидетельствует слабовольный рот, – с орденской ленточкой в петлице. Ему под шестьдесят. Опираясь на трость, он стоит на автобусной остановке и делает вид, что «эта женщина» не имеет к нему никакого отношения, – хотя на самом деле она не имеет отношения ни к кому и ни к чему другому, кроме него. Она в равной мере может быть его женой, сестрой или дочерью. Он наблюдает за ней издалека, словно втайне ее оберегает. Последние три дня он боролся с ней, чтобы помешать ей выйти из дома, но в этот вечер, после четырех, она тайком принарядилась, пряча от него то один, то другой аксессуар, и, воспользовавшись визитом бакалейщика, ускользнула. И вот теперь она на улице, и он волей-неволей должен за ней следовать, дер-

жась на расстоянии, как чужой. Как он мог некогда плениться этим монстром? Сначала она быстро удаляется, и вот уже почти исчезает, но внезапно ее одолевает боязнь самой себя, вернее, боязнь того, что сейчас она одинока и свободна, хотя, казалось бы, именно об этом она и мечтала, – и вот, вопреки себе, она как будто против воли возвращается, словно невидимая нить привязывает ее к этому человеку. Однако, по мере того как она приближается, она всё громче его бранит и явно намеревается его ударить. Приблизившись, она действительно пинает его по ноге мыском туфли и подносит к его лицу сжатый кулак. Вероятнее всего, разразился бы грандиозный скандал, если бы он не отвел глаза, делая вид, что не происходит ничего необычного, а потом, когда она почти бегом бросилась прочь, не пошел бы за ней, оставаясь на расстоянии, но не упуская ее из вида. Когда она оборачивается и видит, что он следует за ней, это приводит ее в ярость – и, возможно, потому, что у нее не остается другого способа от него ускользнуть, она переходит от жестокости к непристойности. Только стыд, думает она, заставит его ослабить хватку. И вот, укрывшись в нише ближайшего подъезда, чтобы не сразу собрать вокруг себя толпу или привлечь внимание полиции, она начинает каждые несколько секунд задирать юбку до самых глаз. Увидев это, генерал застывает на месте, превратившись в статую генерала. Но этого ей недостаточно – выйдя на всеобщее обозрение, она приближается к нему, просовывает обе руки себе между ног, а в следующий миг жестом вакханки приподнимает нависающий живот и вскидывает его до самых грудей. Дело происходит в пять часов вечера. Генерал бледнеет. Как да-

леко она зайдет? Он начинает дрожать. Подходит полицейский. Но каким-то чудом именно крайняя степень собственного бесстыдства ее успокаивает. Мало-помалу, словно одумавшись, она приходит в себя. Больше того, она изображает величайшее смирение. Или это ирония? Затем притворщица сворачивает на рю дю Вье-Коломбьер и делает вид, что разглядывает безделушки в витринах и театральные афиши. Теперь она выглядит как благочестивая прихожанка, возвращающаяся из церкви Сен-Сюльпис от вечерни. Генерал облегченно вздыхает и, я готов поспорить, убеждает себя в том, что просто вышел прогуляться со своей душечкой.



Напротив меня садится девушка, чье лицо обрамляют две золотистые косы. Ее скромная манера держаться выглядит настолько естественной, что между нами совершенно непринужденно завязывается немой разговор: ее руки отвечают моему взгляду, ее взгляд – моим рукам. Ее мать думает: «Он находит ее красивой» – и, я уверен, она этим гордится. Но после того, как она изучает меня в лорнет с головы до ног, чтобы выяснить, какому именно типу мужчин нравится ее дочь, – я вижу по ее гримасе, что она уже не так горда.

## ПОЛИЦЕЙСКИЙ КАБРИОЛЕТ

Едва лишь я успеваю занять место в автобусе, как идущий следом жандарм садится напротив меня. Чтобы избавиться от его пристального взгляда, я улыбаюсь, но тщетно – я уже попался... Он внимательно разглядывает мое лицо, мои руки, изучает мои повадки, и поскольку мы сидим в самой середине автобуса, взгляды всех пассажиров обращаются к нам. Я не осмеливаюсь пересесть. Если я это сделаю, жандарм последует за мной, и тогда уже для всех станет очевидно, в каком статусе я отныне пребываю, лишенный возможности передвигаться без моего ужасного ангела-хранителя. В ответ на любое, едва заметное мое движение он угрожающим жестом пригвозждает меня к месту. Я уже ощущаю наручники на своих запястьях. Я слегка расставляю руки, чтобы убедиться, что они больше не свободны, но в то же время не допустить, чтобы цепь зазвенела. Жандарм начинает дремать. Но как только я спрашиваю себя, почему бы, воспользовавшись этим, не попытаться убежать, как замечаю, что один глаз у него приоткрыт. Я отказываюсь от своего намерения. Глаз закрывается. Желание бежать одолевает меня снова, с такой силой, что я пинаю моего тюремщика

по ноге, чтобы заставить его присматривать за мной. К положению заключенного привыкаешь с такой легкостью, что это не может не повергать в отчаяние. И вдруг на остановке у площади Клиши жандарм поднимается с места и, не удостоив меня даже взглядом, идет к выходу. В глазах всех своих попутчиков я вижу немые извинения. Моя одежда словно по волшебству расправляется, лицо разглаживается, на нем снова появляется добропорядочное выражение. Руки, не в силах справиться с неожиданной свободой, чуть приподнимаются и бессильно замирают на коленях, как птицы, которые слишком долго бились о прутья клетки. Я выхожу у дома номер 61 по рю Коленкур, и никто не пытается меня остановить. Чего ради? Никто больше не проявляет ко мне ни малейшего интереса, и весь вечер и всю ночь я брожу, не разбирая дороги, по-прежнему отягощенный моим преступлением – не известным, но реальным, опасным, – по этому огромному городу, отдавшись на милость своих жертв.

Я прогуливался недалеко от «Отель-де-Виль» после семи часов. В какой-то момент за мной по пятам увязалась старуха с девочкой лет десяти. Мне стало не по себе, и я, ускорив шаги, почти бегом направился к Сен-Жерве («к святому Жерару де Нервалю», – как сказал я позже Веронике, когда пришел к ней). Справа от церкви я углубился в переулок, узкий и темный, в глубине которого, к моему ужасу, меня ждали всё те же старуха с девочкой, стоявшие, как святая Анна и Дева Мария на картине «Введение Марии во храм», среди горшков с геранью. Я поспешил обратно, и, поднимаясь по лестнице, восходящей из глубин Преисподней<sup>4</sup>, постепенно оказался посреди площади напротив Порш-Ройяль, от которого меня теперь отделяли всего десять или двенадцать ступенек.

И вдруг я услышал рыдания. Никого не видя вокруг, я привстал на цыпочки, потом поднялся еще на пару ступенек. Наконец я увидел человека, распростертого на земле в углублении дверной арки – казалось, он хочет вытянуться еще сильнее, попытаться сделать свое тело плоским,

---

4 Обыгрывается название рю д'Анфер, букв. «Адская улица».

вжаться в землю, полностью слиться с ней, чтобы его вообще невозможно было различить. Было ли это ненадежное пристанище его единственным счастьем, единственным безопасным местом, которое у него оставалось? Казалось, он пытается спрятать голову под телом, а лицо – под головой. Его губы, словно искривленные судорогой, были плотно сжаты, один глаз был неподвижно устремлен на деревянную балку, другой – на каменную стену. Я поднялся на еще одну ступеньку. Услышал ли он мои шаги? Во всяком случае, он приподнялся, не оборачиваясь, и его лицо оказалось прямо напротив моей тени, которая надвигалась на него с другой стороны, поднимаясь всё выше вдоль дверной створки, словно по волшебству. По мере того как я сам поднимался и приближался, моя тень всё росла, и этот человек, кажется, следил за ней глазами и даже чуть-чуть отодвигался, как будто затем, чтобы уступить ей место. Наконец, когда она воздвиглась прямо над ним, он устался на нее, оцепенев от ужаса. Чьих теней он опасался больше всего? Когда он распознал мою – я хочу сказать, когда он убедился, что моя не является ни одной из них, напротив, это тень человека, которого он смог чем-то растрогать или заинтересовать, – он счел необходимым повернуться, чтобы разглядеть меня. Точнее, сам я не имел для него особой важности или ценности – ему достаточно было моей тени. Она по-прежнему его беспокоила. Он снова съежился, и я понял, что даже свое собственное тело он вряд ли ощущает сейчас настолько хорошо, как мое, чувствуя, что я собираюсь сделать к нему еще один шаг. Тогда я сделал вид, что просто люблю архитектуру церкви, даже не замечая его, а потом, не поворачиваясь,

медленно сделал несколько шагов назад и снова начал спускаться по лестнице. И вот, когда голова моей тени, скользившей вниз по дверной створке, оказалась на уровне его рук, я увидел, как он протянул их к ней – то ли собираясь задушить ее, то ли обнять. Потом он снова скорчился на земле.

126

На вершине этого эшафота, у подножия небесных врат, возле самых моих ног, в самом невероятном, абсолютном одиночестве, он рыдал, и это рыдание, которое весь мир слышал, но не замечал, весь вечер отдавалось у меня в ушах, словно звон погребального колокола. Мне представлялось, что этот человек совершил убийство – и, словно отлученный от мира живых, колебался между тюрьмой и смертью. Наказывая себя сам, уже пребывая в собственном аду, он вдруг увидел зловещую тень, выросшую перед ним на двери, – и содрогнулся. Была ли его первая мысль о полицейском, собирающемся его арестовать, или о последнем визите своей жертвы, одну только тень которой он забыл уничтожить?

Она похожа на летучую мышь и одновременно на ангела – раздушенная и распутная, в шелковых туфельках, с пустым сердцем, но в густом парике из натуральных волос, с челкой и длинными завитыми локонами, и в шляпе с обвисшими полями, украшенной воспоминаниями – лепесток флерд’оранжа, перламутровая пряжка, бархатные и бумажные цветы, вуаль шириной с парус. И эта отметина на щеке, пылающая, как стигмат – язва или укус? память о грехопадении или еще один рот – уста Зла, которыми оно вещает помимо нее? Ах, зачем я так долго насмеялся над тобой? Но я исправлюсь, я сам придумаю себе наказание, ангел мой. Когда я говорю «Бог», ты отвечаешь «Иисус». Бог? такие как она не знают, кто это, вот Иисус – другое дело. «Кто не против Меня, тот со Мной» – так она исказила себе на пользу Святое Писание.

«По вечерам я живу на сцене театра, а остальное время кочую из отеля в отель, чтобы унять свою лихорадку. Всё свое ношу с собой – сменную рубашку». В этой рубашке мне видится благословенный антиминос, расшитый розами и незабудками. Когда я спросил тебя о возрасте, ты отве-

тила: «Без одежды я выгляжу на пятнадцать лет». Ты бесспорно достойна восхищения, и наш союз отныне крепок. За твою красоту я готов тебя удочерить. Или жениться на тебе. Ты волнуешь сильнее, чем сама Красота. Ты – христианская Венера, тощая, болезненная, прогнившая, с маленькими округлыми грудями, никогда не мытыми, в пятнах экземы, и ножками-спичками, одетая в лохмотья, сквозь которые твое сердце просвечивает, как бриллиант, чей вид заставил бы онеметь любого алхимика.

Сколько загадок ты помогла мне разрешить, когда на мой вопрос «Любила ли ты когда-нибудь?» – ответила «Нет. Я никогда не влюблялась до беспамятства». В этот момент ты предстала мне настолько великой, что в сравнении с тобой мост, по которому ты шла, показался жалкими деревянными мостками, да и само небо – газовым шарфом за четыре су.



В этот вечер я спустился под Новый мост, чтобы увидеть человека, в точности похожего на Бога-Отца: та же борода, тот же силуэт. Мне сказали, что он сумасшедший. Или, может быть, он просто насмеялся надо мной? Почти голый под наброшенным на плечи зеленым одеялом, он объявил мне: «Здесь у меня пункт беспроводной связи. Только что я говорил со всеми пятью частями света. В меня кидают камни с моста, но эти камни никогда до меня не долетают – вон на том платане сидят ангелы с ракетками и отбивают их. У меня есть склады с барахлом по всему миру. Каракулевые шубы, которые я купил в России, сгнили, я знаю, но это ничего. Их просто надо починить – заменить на них все шерстинки, одну за другой, вот и все дела. В моих погребках на рю дю Бак так сыро. И еще у меня на Сене стоят три баржи с грузом фруктов и овощей. Банан совсем как яйцо. Берешь яйцо и счищаешь скорлупу. Берешь банан и снимаешь кожуру. Один в один. А мои дыни! Мой дорогой сынок обычно ходит за покупками. Но сейчас он в Риме, возле Папы. Там как в театре Шатле (и он указал рукой на театр). Я всё время за ними наблюдаю. Хотя вы, месье, наверно, и представить себе не можете, как это».

Пока Бог говорил, я изучал его обитель, лишенную стен, крыши, окон и дверей, где все вещи были аккуратно разложены под открытым небом вокруг единственного дерева: тряпки, коробки, зонт, перетянутый веревкой, котелки, шумовки и дуршлаг, нанизанные на стальную струну, которая крепилась к переносной печке – но это был не набор кухонной утвари, как мог бы подумать непосвященный, а тот самый пункт беспроводной связи со всем миром.

Под мостом была гардеробная. В петлице одного пиджака я заметил «Крест пилигрима». «Зачем он вам? – любопытствовал я. – Вы религиозны?» – «Нет, месье. Вот взгляните, на этом пальто – трехцветная кокарда. А на этом – красный бессмертник. Это потому, что я приверженец всех религий. Поскольку я общаюсь с Петром, Павлом и Иаковом, мне приходится каждый раз менять одежду. У меня всего десять костюмов, а надо бы сто. Я точно знаю, какой костюм мне бы следовало надеть для встречи с вами. А вот вы не знали, что бы вам надеть для встречи со мной. Однако, предвидя ваш визит, я предпочел остаться голым. Это просто другой способ вам понравиться. Так что не думайте, будто я обманут вашими комплиментами. Это вы обмануты моими, или мы оба друг друга одурачили, если вы дьявол. Думаю, я уйду отсюда сегодня же вечером, и вам нелегко будет в следующий раз вот так запросто повидаться с Богом-Отцом».

1956



Однажды вечером, после десяти, я прогуливался в садах Трокадеро и за поворотом одной из аллей увидел женщину, окруженную многочисленными кошками всех цветов. Я приблизился и спросил, откуда взялось это сборище.

– Ах, месье, – отвечала она, – эти бедные создания дни и ночи напролет стремятся попасть сюда, где для них настоящий рай, преодолевая заграждения и капканы, вынося пинки и побои, порой страдая от голода и отчаяния, когда их здешняя охота на птиц в рощах или на рыб в фонтанах оказывается неудачной. Вот посмотрите на эту рыжую, она совсем старенькая... Каждый день она, укрывшись в тени, подолгу сидит на берегу ручья, который орошает один из цветников, и пытается подцепить какую-нибудь мелкую рыбешку, когда та проплывает мимо... Но это ей так редко удается, что она умерла бы от истощения, если бы я о ней не позаботилась.

А вот здешние садовники их ненавидят и ведут с ними настоящую войну, которая еще сильнее изнуряет, чем голод... Но я уже больше десяти лет о них забочусь и регулярно приношу им еды. Иногда я говорю себе, что уже слишком слаба, мне семьдесят лет... Но ведь они меня ждут! Как не прийти?.. Когда я болею, вместо меня прихо-

дит старшая сестра, которая еще дряхлее меня... Двадцать су на молоко и остатки с нашего стола, а еще те, что приносят нам соседи, – этого хватает, чтобы наши подопечные не голодали. Вдоль этой аллеи всегда расставлены корзинки, тарелки, консервные банки – как на настоящем пиру!

134

А в прошлом году окрестные мальчишки устроили, нечего сказать, «шалость»! Они меня чуть не убили, месье! Стоило мне войти в аллею, они принялись швырять камни в моих подопечных, которых я могла заслонить только собой. В конце концов мне удалось договориться с полицией, чтобы нас охраняли – но знаете, что сделали эти гаденыши, нанеся мне удар в самое сердце? Они распяли маленького белого котенка, моего любимца, вот на этой березе. На коре до сих пор видны следы гвоздей...

Ах, месье, если бы вы десять лет подряд приходили в это место, всегда в один и тот же час, и видели, как эти бедные создания сбегаются к вам со всех сторон, из самых дальних уголков парка, вы бы непременно были счастливы от того, что помогаете им!

\*

Две горлицы провели всю свою жизнь, воркуя на одном и том же окне дома на площади Мобер – их единственной клеткой было чувство благодарности к кормящей их руке.

\*

Одна маленькая птичка, живущая на крыше Зимнего цирка, поет каждый вечер и замолкает позже всех – словно излив наконец душу, переполненную больше остальных.

\*

135

В сквере возле башни Сен-Жак стайка воробьев суетится вокруг одной-единственной хлебной крошки, почти неразличимой – но они оспаривают ее друг у друга, сражаясь до крови.

\*

Каждый вечер старичок и старушка, оба маленькие и хрупкие, никогда не выходящие из своей мансарды, садятся у распахнутого окна подышать свежим воздухом, не видя ничего дальше своих ящичков с геранью, которая словно освещает их лица.

\*

Воскресными вечерами по улицам предместий движутся мрачные толпы обитателей особого мира, покинувших свои трущобы как будто для того, чтобы поглазеть на казнь. Вскоре само солнце начинает казаться окровавленным срезом шеи после удара лезвия, отсекающего голову. Воистину это казнь, окончательно убивающая прошедшую неделю.

\*

Перед уличным лотком, закрывая его полностью, горой высится чья-то спина, поверх которой видна лишь мужская рука, возлежащая на голом женском плече.

\*

136 Сквозь решетки на окнах сумасшедшего дома чаще всего можно увидеть мясистые лица тех, кто живет чужими болезнями и смертями.

\*

Над триумфальной аркой победно вскинутых рук возницы, который только что высыпал груды щебня из своей телеги в стоящую у причала баржу, видна голова пегой лошади, настолько великолепная, что способна затмить головы Диомедовых коней – кажется, что, подобно им, эта лошадь вместо травы поглощает языки пламени разожженного где-то на иных берегах костра.

\*

Когда мадам Маландрен, консьержка из дома 26, видит, что кого-то из жильцов увозят на «скорой» в больницу, – тем более если шансы вернуться оттуда у него невелики, – она обычно говорит, выпрямившись во весь рост и уперев руки в бока, с облегченным или даже довольным видом: «Ну, теперь будет почище!» – как будто вся жизнь для нее – сплошная грязь.



Я часто встречаю на рю Ренуар монахиню из Сен-Венсан-де-Поль, прекрасную, как Венера Медицейская. Она совершенно непринужденным жестом просовывает руку под белый фартук, опоясывающий ее роскошные формы, и касается ею промежности, собираясь, очевидно, приподнять спереди край платья из боязни на него наступить – хотя со стороны кажется, что она идет, не касаясь земли. Голова ее гордо поднята, а взгляд, устремленный куда-то вдаль и ввысь, скользит над головами встречаемых, подобно летящей голубке.

Этим утром я надолго застыл от изумления на рю Бобур перед птичьей клеткой, в которой какая-то мегера, скорее всего ради развлечения, поселила десяток птиц совершенно разных видов, в природе не живущих вместе никогда: там был кардинал, две вдовушки, попугайчики, канарейки, щегол, еще кто-то – вплоть до воробья. Ужасающий образ нашего мира, в который мы заключены волей неведомого безжалостного божества. Мы не в силах ни убежать, ни избавиться от гнусной тесноты соседства с себе подобными – с которыми, однако, у нас нет ничего ни сходного, ни общего, кроме равного для всех тяжелого бремени существования, которое мы по необходимости влачим. Всё остальное нас разделяет, заставляя каждого восставать против всех: наши темпераменты, наши характеры, наши устремления, наше происхождение, классы, к которым мы принадлежим, и особенно – те

обычаи, которым мы считаем за благо следовать; я не решаюсь сказать: «наши свободы» – какая уж свобода в клетке? (Впрочем, один янсенист, сидевший в Бастилии при Людовике XIV, говорил, что у него оставалось их тринадцать – и с ними король ничего не мог поделать.) Назовем это «наши почитаемые мании». Даже у двух братьев они могут быть противоположными, взаимно ограничивающими, обоюдно неприемлемыми, несовместимыми. Профессии, таланты порождают конкуренцию, гениальность – зависть, любовь – ревность, патриотизм – войну, религия – фанатизм; и что может быть опаснее человека, уверенного в своем обладании истиной и твердо решившего принести счастье всем остальным: он скорее перемелет их в прах, чем откажется от своего замысла.

Но вернемся к птицам. Итак, я наблюдал за ними сквозь прутья клетки, и они подавали мне множество примеров того, как можно создавать какое-то подобие роскоши даже в стесненных обстоятельствах, как прогонять скуку и с пренебрежением относиться к гурманству. Но вот я заметил обитателя клетки, явно переносящего неволю хуже всех остальных: самого скромного и, как следствие, самого униженного и забитого; он был несчастнее других именно потому, что был сотворен более живым и подвижным, более веселым, сильнее всего любящим петь и порхать, более привычным довольствоваться малым – иными словами, наиболее приспособленным к тому, чтобы чувствовать себя счастливым. Об этом можно было догадаться по его яркому, как у всех щеглов, оперению, ничуть не потускневшему в неволе, и резвым бусинкам глаз. Покрытый испражнениями собратьев, изгнавших его на низший уровень

своего общества, он сидел, опустив голову, с печально-задумчивым видом, словно понимая, что обречен на долгую жизнь и долгое страдание, – он, воплощенная веселость! – молча, без движения. Глядя на него, можно было подумать, что вся вселенная замыслила его погубить – и что он это сознает. Ах, будь я самим Творцом – я бы отказался от всего своего блеска и славы, чтобы освободить это безвинно страдающее существо!

– Вы ошибаетесь, – ответил мне первый же прохожий, с которым я поделился своими размышлениями. – Вы не заметили другого узника, которому еще хуже, чем этому, и который занимает место еще ниже, чем он, – можно сказать, на самом дне. Вот кто самый несчастный из всех.

– Вон тот воробей, который бьется о прутья? Напротив, он самый счастливый – он скоро умрет.

139

\*

Двое мальчишек лет четырнадцати-пятнадцати, возвращавшихся из школы – бледных, тощих и жалких, – уселись рядом на сиденья в метро и начали тараторить без умолку, словно изголодавшись по разговорам после долгого молчания на уроках. Но вот в вагон вошли две молодые женщины, веселые, оживленные, в мехах и кокетливых шляпках, и встали возле них, не сомневаясь, что те уступят им место. Ничуть не бывало. Поглощенные своей болтовней, мальчишки, казалось, их не замечали. Женщины несколько раз пытались привлечь к себе внимание, но всё было напрасно. Тогда они воззвали к окружающим, чтобы выставить невеж на публичный позор. И тут один

старик, добровольно взяв на себя функции арбитра в этом конфликте, за нарастанием которого он внимательно наблюдал, приблизился к двум нарушителям приличий и произнес фразу, вызвавшую всеобщий хохот:

– Ну-ка, ребяташки, вставайте и уступите места этим двум немощным!

Мы вышли из кафе «Вавилон». Полицейский автомобиль, перегородивший улицу, вынудил нас остановиться у дверей ночного клуба, откуда выносили на носилках молодого человека, судя по виду, из высшего общества. По выражению одного из полицейских, у которого я спросил, что случилось, его «вырубила» чрезмерная доза кокаина.

Наконец мы добрались до метро, но в одном из переходов внезапно услышали резкий хриплый крик, в котором не было ничего человеческого. Оборвался он столь же резко и неожиданно. Единственным человеком в поле нашего зрения был благообразный старик, чинно стоявший у стены. Только он и мог издать этот крик. Однако вид у него был совершенно безмятежный. Я подумал, что это, скорее всего, сумасшедший, и, охваченный невольной жалостью, приблизился. Старик держал перед собой руку ладонью вверх, и я положил в нее несколько монет. Но стоило мне отойти, как меня нагнала пожилая дама и спросила: «Знаете ли вы, месье, кому только что подали милостыню? – Нет. – Инспектору сыскной полиции в отставке. Он живет в одном доме со мной вот уже пятнадцать лет. Он разыгрывает эту комедию

каждый вечер в разных местах и, будьте уверены, неплохо на этом зарабатывает. Он страшный скряга, месье! Жадность – вот что им движет!»

\*

В период оккупации у магазинов возле Лувра выстраивались очереди почти бесплотных, грязных людей, над головами которых висело огромное панно с надписью позолоченными буквами, выглядящими так, словно они мнили себя золотыми: «Благородство белизны» – как будто благородство и белизна еще имели что-то общее с этим миром.

141

\*

В автобус заходит негр, и какой-то ребенок говорит матери:

– Он некрасивый!

– Почему же, дорогой, он красивый – для своей страны.

\*

Сегодня, стоя на автобусной остановке в Порт-Майо, я наблюдал за столкновением двух передвижных средств, о которых еще не скоро забуду. С одной стороны шла пышнотелая горделивая матрона, катящая перед собой детскую прогулочную коляску с пологом из розового атласа, отделанным кружевами. В коляске сидела обезьяна с пресыщенным, брезгливым выражением почти чело-

веческого лица. Хозяйка даже прибегла к помощи полиции, чтобы заставить всех встречных расступаться перед этим королевским экипажем. С другой ехал человек на дряхлом, полуразвалившемся велосипеде, к рулю которого была прицеплена плетеная корзина с сидящей в ней собакой. Судя по несчастному виду животного, это неудобное, тряское путешествие продолжалось уже долго. Но я никогда не встречал такой нежности, как та, что отражалась в глазах этой собаки, неотрывно глядящих на лицо хозяина, от которого она ни разу не отвлеклась всё то время, что я за ними наблюдал. И он, в свою очередь, тоже сосредоточил всё внимание на ней. Они явно были далеки от благополучия – со стороны оба выглядели нелепыми, жалкими изгоями, – но тем теснее становилась их близость, служившая им защитой от невзгод. Ах, если бы сердечность была той единственной основой, что определяет человека, – сколь многие животные заслуживали бы того, чтобы встать вровень с нами, и сколь многие люди, презирающие их – быть изгнанными на низшую ступень.

\*

Проходя мимо моста Гренель, двое детей лет шести-семи увидели статую Свободы. Один сказал:

– У нее пики на голове!

– Да нет, это шипы.

– А-а.

– Да, папа с мамой мне рассказывали эту историю. Там было еще что-то про злых людей и про крест...

– А что за история?

– Да я уже забыл...

На станции Перер в поезд кольцевой линии заходят две девушки странного вида, с безучастными лицами лунатиков. Обе в темной одежде, у каждой приколот к волосам букетик цветов. Еще две такие же садятся на Трокадеро, еще две – в Пасси, и так далее. Между собой они не обмениваются ни словом. Такое ощущение, что каждая говорит сама с собой: их губы слабо шевелятся, но лица остаются совершенно пустыми, лишенными всякого выражения. Может быть, это роботы или ходячие манекены? Нет, по некоторым признакам все-таки можно догадаться, что это существа из плоти и крови. Но чьи же руки увенчали их пионами – таких безобразных, столь нелепо покрашенных, что невозможно представить себе маскарада более гротескного, более издевательского? Некоторые, самые старшие, носят впридачу пояса из живых роз на своих располневших талиях почтенных матрон, что придает им вид загулявших жен огров, или провинциальных монахинь из ордена «Детей Марии», превратившихся в вакханок, или упившихся деревенских скромниц. На лицах – ни тени улыбки, лишь некое навязчивое упорство, почти одержимость. Завороженный этой непонятной, всё увеличивающейся процессией, я начинаю воображать себя перенесенным каким-то волшебством в необычную страну, где живут люди без глаз, как вдруг случайно узнаю, что все они – и в самом деле слепые, собравшиеся на свадьбу одной из своих подруг. Без сомнения, если бы они были зрячими, если бы могли увидеть себя такими, как увидел их я, столь нелепо разодетыми, они бы умерли от потрясения, от изумления и стыда.

Воскресным вечером я увидел на авеню Терн сидящего на скамейке человека, похожего на нищего. Казалось, он наблюдает за чем-то в отдалении. Проследив за его взглядом, я заметил подвешенную к дереву клетку, совсем крошечную, в которой бился дрозд.

– Вы его продаете? – спросил я.

144

– О, что вы, месье! Конечно, нет! Как же мне без него? Это единственная радость в моей жизни, мой единственный друг на всем белом свете. Но вам, я вижу, интересно узнать, что мы оба здесь делаем. Так вот. Я живу на первом этаже, в глубине сырого двора, где всегда темно, даже днем. И вот по воскресеньям, после обеда, когда я иду гулять, я беру клетку с собой и время от времени выставляю ее на солнце. Видите, как он радуется!

Три дня назад уличный музыкант решил обосноваться на улице адмирала Брюи, почти под самыми моими окнами. Его инструмент – некое подобие скрипки с коротким грифом, струнами разной толщины, явно приобретенными по случаю и натянутыми кое-как, и таким же убогим смычком. Невозможно вообразить звуков более отвратительных и менее похожих на музыку. Бог весть почему – может быть, именно из-за этой какофонии? – деньги сыплются на него дождем. Каждый прохожий будто считает своим долгом подойти – а порой даже перебежать ради этого улицу, рискуя попасть под колеса, – и вознаградить моего пала-



ча. В самом деле, для меня это наихудшая пытка. В какой-то момент я не выдерживаю, одеваюсь и со шляпой в руке иду на поклон к мучителю, умоляя перенести свой концерт чуть подальше. Он с готовностью соглашается – и, разумеется, такая услуга не может остаться без щедрого вознаграждения с моей стороны.

На следующий день всё повторяется.

\*

Сегодня, жарким июльским днем, в два часа пополудни, на рю Ренуар почти ни души – только двое рабочих из службы городской канализации. Один из них, гигант атлетического телосложения, по пояс обнаженный, с висящим на поясе алюминиевым фонарем, собирается спуститься в открытый люк, но перед этим изображает в лицах боксерский матч, на котором, очевидно, присутствовал накануне – исключительно для собственного развлечения, поскольку его компаньон курит, повернувшись к нему спиной.

Не будь меня, единственного зрителя, вся естественная красота этого импровизированного представления пропала бы даром! На мгновение он поворачивается ко мне в профиль и склоняет голову, так что она оказывается точно на середине его торса, словно замещая фонарь, который он передает своему напарнику. И в довершение всего, словно павлин, распускающий хвост, он делает «колесо» вдоль всего тротуара. Я как будто наяву увидел ожившего «Копьеносца» Поликлета, демонстрирующего все приемы древнего искусства борьбы ради меня одного.

Два клошара повстречались в полдень на площади Шатле. У обоих были дешевые солнечные очки. Оба смерили друг друга взглядом и ухмыльнулись. Когда они разошлись и отдалились друг от друга на несколько шагов, оба одновременно повернули головы, и каждый слегка приподнял плечо, всем своим видом изображая презрение.

Я влюблен в старенькую консьержку с улицы Дюрель. Ее муж парализован. Мы с ней не знакомы и никогда не сказали друг другу ни слова, кроме «Добрый день!» однажды при встрече – оба одновременно, сразу же, как только друг друга увидели, но это приветствие с ее стороны сопровождалось очаровательной улыбкой (своей я увидеть не мог), которая столь явно давала понять, что я ей симпатичен, как если бы она хотела произнести это вслух, от всего сердца, и лишь из тактичности промолчала. Мне, всегда придававшему больше значения посадке головы, чем самой голове, и манере скидывать ее, чем ее внешнему виду, было достаточно утонченности ее жестов, интонации ее голоса, выражения лица – очевидных свидетельств ее благородства, – чтобы почувствовать тайную близость с этой женщиной, впитать ее душу, несмотря на ее почтенный возраст и низкую должность.

С тех пор наши встречи, всегда немые, своей счастливой атмосферой напоминают мне любовные свидания.

Каждый день, вот уже десять лет, я вижу мужчину и женщину, которые проходят рука об руку под окнами моего дома на улице адмирала Брюи, в семь утра и в восемь вечера – с такой точностью, что я могу проверять по ним часы. На вид им что-то около пятидесяти лет, судя по всему, они ровесники. Я думаю, они работают в одном из богатых буржуазных домов в районе Порт-Дофин. Они выглядят как образцовые слуги: всегда одеты с иголочки, обувь начищена до блеска, прически – волосок к волоску. Такого сейчас уже почти не встретишь. Кажется, ничто не в силах омрачить добродушно-го выражения их лиц, лишить их обходительных манер, нарушить их всегда неторопливую, размеренную походку. За многие годы они идеально приноровились к шагам друг друга. Женщина слегка склоняет голову к плечу мужчины, потому что он совсем чуть-чуть ниже ее ростом, и опирается на его большую руку – он, что называется, крепко сшит. Почти всегда они смотрят под ноги, как те, кому нет дела до окружающих пейзажей и посторонних людей, и у кого нет необходимости смотреть друг на друга, чтобы друг друга видеть. Произнося какие-то слова, подбирая выражения, они оба знают, что заставит другого улыбнуться или нахмуриться – им даже не нужно поворачивать голову, чтобы в этом убедиться. Каждый из них – словно брeвиарий для другого: со временем они выучили друг друга наизусть. На сгибе свободной руки у каждого висит сумка с провизией, а две другие руки так тесно сплетены, что издали эти два существа кажутся неразделимыми, соединившимися в одно.

\*

Чуть позже проходит еще одна пара: она совсем чуть-чуть, на полшага, впереди него – он хромает. Хочется крикнуть его спутнице, слишком резвой или не слишком внимательной, чтобы она умерила шаг, позволив ему нагнать ее – что он тщетно пытается сделать. В этом очевидном разладе есть нечто ранящее, трагическое.

148

Но то же самое, говорю я себе, можно наблюдать почти у любой семейной четы. Очень немногие созданы для того, чтобы легко принаравливаясь к походке друг друга; и какое редкое самоотречение – из любви отказаться от своего собственного ритма!

\*

Как только они скрываются под сенью платанов, настает очередь маленькой повозки на двух автомобильных колесах, в которую запряжена венгерская лошадка, мчащаяся во весь опор. Ею правит закутанная в шаль женщина крестьянского вида. Каждое утро, едва рассветет, она привозит парное молоко и другие свежие продукты со своей фермы какому-то знатному сеньору. Может быть, русскому князю? Чем-то это зрелище напоминает мне изображения «тройки».

\*

С площадки автобуса, куда только что поднялся, я замечаю сидящего внутри молодого человека, чья манера чтения крайне оригинальна: вниматель-

нейшим образом изучив очередную страницу, он вырывает ее, сминает в кулаке и выбрасывает в окно.

\*

В маленьком частном автобусе иезуитского колледжа четверо учеников сидят с книжками по углам, прилежно повторяя уроки, а пятый, необыкновенно красивый, лежит, вытянувшись поперек сиденья, с мечтательно-рассеянным видом – судя по всему, получив на то позволение, хотя бы и молчаливое, от сидящего напротив отца-иезуита, который избегает на него смотреть, опасаясь, вероятно, что эта преходящая красота заставит его позабыть о вечности.

149

\*

Сегодня, спускаясь в метро на площади Перер, я увидел одного необычного персонажа, которого раньше уже встречал в этом квартале – клошара, похожего на свихнувшегося книголюба-графомана, поскольку, несмотря на свой истощенный вид, он всегда таскает с собой две связанные и перевешенные через плечо сумки, спереди и сзади: одну со старыми книгами, другую с ветхими рукописями. И вот он поскользнулся и упал, рассыпав весь свой груз буквально мне под ноги. Несколько человек тут же склонились над ним, кто-то приподнял ему голову, словно специально давая мне возможность увидеть его побледневшее окровавленное лицо. Я должен был первым броситься ему

на помощь – кому, как не мне, в первую очередь подобало это сделать? – но им уже занялись другие, к тому же меня ждали мои ученики. Я с сожалением двинулся дальше, и, пока я размышлял об этом эпизоде, лицо клошара в моем воображении постепенно сменялось моим собственным. Когда я прибыл в пансион, мне уже казалось, что я оставил там, в переходе, самого себя, чтобы не опоздать на урок.

150

\*

Жена виноторговца на авеню де Нейи:

– Ах, нет, что вы, месье, помилуйте! Нет и нет! Никогда мы с мужем не поедем вместе в отпуск! Это единственный случай раз в году отдохнуть друг от друга – как можно его упускать! Всё остальное время мы не расстаемся ни днем ни ночью: днем в магазине, ночью в постели. Рано или поздно это надоедает. К тому же, хотя в домашней жизни у нас одинаковые вкусы, отдыхать мы любим каждый по-своему. Мужу нравятся модные морские курорты, потому что там можно хотя бы две недели пожить роскошной жизнью. А я, во-первых, боюсь воды, а во-вторых, за одиннадцать месяцев устаю от людей, поэтому уезжаю в деревню. Чем ближе июль, тем сильнее я мечтаю снова увидеть коров. Вот где настоящий отдых! Сама я родилась в Париже, но каждый год уезжаю на месяц в деревню.

\*

Один клошар высказывает соображение первого мая:

– В такой день и навозная куча зацветет!

\*

Слепой с Аустерлицкого моста улыбается так, словно видит человека, только что подавшего ему милостыню, – пожарного.

151

\*

Сегодня утром наша горничная рассказала нам невероятную историю.

В доме, где она живет, у одной семьи болеет дочь, маленькая девочка. Ее родители, собираясь отвезти ее в больницу на обследование, искали транспорт подешевле. Кто-то из соседей посоветовал велотакси.

Девочка, невысокая и худенькая, полностью утонула в груди шерстяных покрывал, отчего такси стало напоминать тележку старьевщика, везущего ворох тряпья – хотя, возможно, еще на что-то пригодного.

Родители поехали одновременно с ними на метро.

Когда такси прибыло в Ларибуазьер, водитель вышел и, поскольку девочка не могла сама ходить, направился в здание и попросил первого встречного врача найти кого-то, кто помог бы ее перенести.

Помощника нашли не сразу, и когда наконец они с водителем, взяв с собой носилки, вернулись – о ужас! – велотакси не было на месте. Его угнали!

Можно вообразить физиономию грабителя, когда он развернул шерстяной узел, похожий на трофей мародера, и ужас и отчаяние родителей.

Нет, никогда, даже в самые лучшие времена – я хочу сказать, в XI и XII веке – не было изображения мадонны, сравнимого с той женщиной, что сегодня села напротив меня в метро, когда поезд тронулся, отходя от станции «Лувр». Необычное одеяние и величественные манеры еще сильнее подчеркивали ее экзотическую, дикарскую красоту.

Каскад ее разноцветных юбок, напоминавших цыганские, но еще более кричащих, пестрых цветов, ниспадал до самого пола, а спереди были намотаны один поверх другого еще несколько фартуков разной длины, всех оттенков синего цвета, вылинявших от дождя и солнца за много лет.

Плечи ее закрывала накидка, скроенная, судя по всему, из холщового мешка, из-под которой виднелись сатиновый корсаж и рукава, не достигающие до запястий. Руки казались вырезанными из темного дерева – грубые, огромные, как вальки прачек, застывшие в торжественной неподвижности. Когда отдыхают руки, которые обычно много работают, они внушают благоговение, подобно священным реликвиям.

Голова возвышалась над всем этим великолепием, словно угрожающе вскинутый кулак, и вы-



ражение лица полностью ей соответствовало: оно было повелительным и в то же время вызывающим, но на этот вызов можно было ответить лишь глубоким почтением.

Самой экстравагантной деталью наряда этой Нотр-Дам-дез-Аль<sup>5</sup> были пришпиленные к лентам, украшавшим ее корсаж и запястья, бумажные этикетки – на них, возможно, ее память запечатлела те счастливые события, за которые она была благодарна судьбе. Эти своеобразные *ex voto*<sup>6</sup> окружали, как святыню, золотое сердечко, висящее на ленточке у нее на шее.

У ее ног, словно дары у подножия статуи божества, громоздились корзины с кочанами капусты, саженцами роз, лесной земляникой. Витавшие над ними ароматы едва пробивались сквозь резкие запахи чеснока и красного вина.

\*

Сегодня рано утром, когда я отправился на рю Белль-Фей за конопляным семенем для моих голубей, на рю де Помп мне довелось понаблюдать за отъездом некой важной персоны. Внизу, у дверей, этого человека ждал автомобиль (и какой автомобиль!), дверцу которого почтительно придерживала затянута в перчатку рука лакея; впереди шли два секретаря, каждый с огромным портфелем, доверху набитым какими-то папками (не-

---

5 «Богоматерь торговых рядов».

6 «Приношения по обету» (различные предметы, принесенные в церковь ради исцеления или в благодарность за него, в частности, таблички с выражениями благодарности).

сомненно, этот человек обладал рангом не ниже министерского), а позади – целая свита домашних слуг в одинаковых ливреях: один нес плед, другой – грелку, третий – подушку, и так далее. «Поистине, – сказал я себе, – власть делает человека странным образом схожим с больным!» Бедняга не знал, куда направить взгляд, чтобы его тотчас же не перехватил кто-то из его рабов, а его руки – изящные, праздные, обремененные лишь самими собой, – казалось, цепляются за пустоту.

\*

Кажется, даже поезд не решается тронуться с места, а проводники – закрыть турникет и вагонную дверь при виде этой печальной, живописной, возвышенной процессии. Да и как можно разделить этих троих, крепко держащих друг друга за руки: слепого старика, которого только что забрали из больницы, его жену, маленькую, бледную, почти глухую, с видом полной покорности судьбе, и их внука лет десяти, который служит им провожаемым. Он поминутно дергает и тянет их за рукава, но они с трудом решаются преодолеть сначала дверцу турникета на платформе, затем подняться в вагон – только вместе, тесно сплотившись бок о бок.

В какой-то момент, то ли ослепленный слишком ярким светом, то ли смущенный множеством прикованных к нему взглядов, то ли напуганный громадным блестящим локомотивом, который вот-вот должен был увезти всех троих, – ребенок растерянно застыл на месте, не решаясь вновь принять на себя командование своим маленьким

отрядом. Еще немного – и мы бы уехали без них. Но тут уже вмешались все, включая начальника вокзала, и дряхлую чету вместе с внуком торжественно водрузили в вагон. Я попытался уступить место старику, который казался самым слабым на вид, но он замахал руками и запротестовал. Наконец он позволил усадить себя, но лишь после того, как убедился, что его жена, маленькая и хрупкая, села напротив него. Трясущейся рукой он неуверенно водил в воздухе, пока не нащупал ее колено, которое ему хотелось ради надежности ощущать рядом с собой. Вот теперь он был спокоен. Мальчик, стоя между ними, вслух произносил названия станций, мимо которых мы проезжали, и считал их, загибая пальцы. Это зрелище, столь плачевное, даже убогое, было столь преисполнено любви и достоинства, что вызвало у окружающих почти религиозное почтение – мало-помалу все замолчали, и это молчание было торжественным, как во время мессы.

\*

На высокой каменной стене на рю де ла Сурс по вечерам можно увидеть странных насекомых: это муравьи, но почти с человеческими лицами. Длинной чередой они ползут по стене снизу вверх – возможно, в поисках Бога.

\*

Африканцев почти не видно в сумерках – лишь иногда замечаешь мимолетный отблеск рукоятки ножа, что у каждого за поясом, а кончик лез-

вия упирается сквозь разорванную одежду в бок спутницы, которую каждый ревниво прижимает к себе.

\*

156

Элегантность простого рабочего, который умеет вовремя распахнуть дверь перед молодой женщиной, посторониться, чтобы дать ей пройти, а затем отправиться за ней следом, не преследуя ее, имеет гораздо больше общего с природной вежливостью, нежели с благовоспитанностью. Вряд ли он ожидает, что ему скажут спасибо; скорее всего, ему наплевать. Эта вежливость – не для кого-то, а для себя самого. Галантность светского человека гораздо более подозрительна, менее искренна, менее естественна, полностью лишена непосредственности, чаще всего небескорытна, запятнана либо иронией, либо тайным низким умыслом – в ней всегда заметно влияние привычки, сноровки врожденной или приобретенной, навязанных правил приличия.

\*

И снова они!

Как передать эту походку, эту гармонию, этот единый ритм, свидетельствующий о нерушимой верности самим себе и друг другу? Мы уже видели их, проходящих мимо. Каждое утро, в один и тот же час, в будни и праздники, они выглядят одинаково: он в каскетке, она – с тщательно уложенной прической. Вечером они возвращаются, всегда в

одно и то же время. Для наблюдателя, каким являюсь я, сидящий в своей стеклянной башне, нет более волнующего момента, чем дожидаться их в урочный момент и не упустить – таких безмятежных, и, пусть не особо привлекательных внешне, но столь близких друг другу и столь похожих, с такой слаженной походкой, словно прожили вместе целую вечность и научились слышать одну и ту же музыку, звучащую лишь для них двоих, о которой я могу лишь догадываться по их едва заметным танцующим движениям. Он чуть ниже ростом, поэтому слегка прижимает голову к ее плечу, в то время как она склоняет свою, чтобы услышать, что он говорит ей на ухо, – как будто за все эти годы они еще не исчерпали темы для разговоров.

\*

Уличный подметальщик, красивый малый, движется по устилающему тротуар ковро опавших листьев, сжимая в руках свой атрибут и прикрыв глаза. Его движения не хаотичны, а подчинены особому ритму: ноги следуют за руками, делая шаг, когда те замирают. Я изучил этот ритм лучше, чем он сам, – по изображениям танцоров на античных вазах.

\*

Я шел по рю де Пасси, возвращаясь с урока, и вдруг какой-то предмет, вращаясь, спланировал передо мной, как парашют, и упал к моим ногам.

Это был зонтик от солнца.

Я сделал еще несколько шагов – и позади меня на тротуар шлепнулся другой предмет, распластавшись с влажным шорохом. Я обернулся.

На сей раз это оказался зонтик от дождя.

Я взглянул вверх и увидел маленькую девочку, которая еще успела столкнуться с балкона седьмого этажа фарфоровую вазу, прежде чем мать заметила ее маневры.

158

\*

Когда я прохожу мимо Пале-Саган, со стороны можно подумать, что я люблю архитектуру. Но нет – меня восхищает чистота стекол. Вот пример того, как роскошь может быть доступна каждому!

\*

Аптекарь с площади Сен-Фердинан говорит: «Вы не поверите, месье, но здесь, в самом центре Парижа, я почти полгода не видел ни одного нового лица! Кажется, во всей Франции не найдется такой глухой деревни, как этот квартал! Площадь Сен-Фердинан – настоящая дыра, и у здешних клошаров никак не меньше привычек и претензий, чем у буржуа, которые безвылазно сидят на своих балконах. Боже вас упаси занять чье-то место на скамейке, которую тот облюбовал еще с незапамятных времен – греха не оберетесь! Живет тут неподалеку одна русская графиня, которая каждое утро, в том числе и по воскресеньям, садится на одно и то же место, напротив газетного киоска, и продает там бумажные цветы, которые сама же

и мастерит. Это ее время – с десяти утра до двух пополудни. Потом настает черед слепого, к которому иногда присоединяется его жена – подышать воздухом после обеда. Вот так они сменяются, и у всех есть свои друзья и недруги, свои сообщества, свои привычные поставщики съестного, и всё прочее в том же духе. Они сговариваются между собой, чтобы добиться от нас, торговцев, разных уступок, скидок и других выгод, которые потом считают своими личными привилегиями, закрепленными за ними с незапамятных времен».

\*

В час ночи между бульваром Гренель и задворками рю Дезе, у дверей небольшого модного магазина стоит коленапоклоненный человек в приличном костюме, с букетом роз в руках – кажется, будто он молится замкам и засовам. Шум моих шагов – единственный звук во всей округе – заставляет его мгновенно вскочить на ноги, и, рассыпая свои розы, броситься наутек, по дороге с легкостью акробата совершая прыжки и пируэты. Перед тем как скрыться в подземном переходе метро, он делает колесо среди рассыпанных цветов, словно желая сбить с толку преследователей, застигнувших его в момент исполнения обряда слишком интимного, чтобы не быть тайным.

– Или подозрительным, – добавляет моя консьержка, услышав эту историю. – Кто знает, месье, может быть, это был обычный взломщик, просто чуть более оригинальный или лучше маскирующийся, чем другие?

Тридцать слепых юных девушек от десяти до шестнадцати лет (я их сосчитал) идут гуськом, держась за руки, к переходу Пасси под предводительством невысокого священника из церкви Сен-Жан-де-Дье в остроносых башмаках на плоской подошве – он один видит за всех. Ну и сарабанда! Как будто все тридцать дней месяца вышли на прогулку. Когда они оказываются на самой середине моста, при ярком свете дня, их видно отовсюду, будто со сцены: можно подумать, что они пьяны или частично утратили рассудок: одни пошатываются, другие гримасничают и слегка пританцовывают, словно поплавки на воде. Зрелище столь необычное, что прохожие в изумлении останавливаются, и даже само солнце будто застывает в зените (сейчас разгар дня), чтобы понаблюдать за процессией. В самом деле, как могли бы они, не видя ни самих себя, ни друг друга со стороны, придать то или иное осмысленное выражение своему лицу и упорядочить свою походку? Отсюда и эти нелепые гримасы, эта завораживающая игра искаженных черт, эти резкие жесты, эти неверные шаги, это ощущение легкого безумия, особенно явственное оттого, что они собраны все вместе. Самая высокая из девушек держится левой рукой за плечо священника, который через нее сообщает указания касательно маршрута и скорости, передаваемые дальше, из уст в уста, до самого конца цепочки – самой маленькой из них. Ни одна не отстает и не обгоняет других – все движутся вплотную друг к другу, действительно напоминая звенья цепи (вероятно, слух и осязание у них крайне обострены, как только и может быть посреди



абсолютного мрака) – и, обернувшись издалека, я вижу эту длинную вереницу живых колец, движущуюся как одно существо – мифическая гидра или дракон.

\*

### Любовники из Порт-Майо.

Ему, скорее всего, от семидесяти пяти до восьмидесяти лет. Он красив, статен, чем-то напоминает Флобера. Густые усы не скрывают чувственной нижней губы, свисающей почти до подбородка. Из-за того, что ему трудно дышать, рот всегда слегка приоткрыт, что позволяет увидеть руины некогда великолепных зубов. Светлый костюм до того истончился, что, кажется, распадется от единственного слабого прикосновения. Белье настолько грязное, что запах чувствуется уже за полтора десятка шагов. Небрежно завязанный галстук когда-то был роскошным, но сейчас превратился в тряпку. Однако эта неряшливость и это убожество происходят не от нищеты – будучи гурманом, он тратит все деньги на еду. Он почти ослеп, обоняние его притупилось, на всё остальное ему наплевать. Доказательством служит то, что он выходит из дома только на рынок. Он медленно бредет по тротуарам рю Перголез или по бульвару Малакофф, неся на сгибе левой руки древний саквояж, потерявший застежку и одну ручку, отчего возможно мимоходом проинспектировать содержимое: это всегда съестные припасы, всегда отменного качества. Но он недолго остается один – к нему вскоре присоединяется спутница, на вид почти его ровесница, увядшая

рубенсовская матрона, одетая в светлые тона, как и он, и такая же неухоженная. Однако она сохранила пышные волосы и нечто величественное в осанке, пусть даже это исключительно плотское величие. Их дряблые губы чуть соприкасаются, затем она опирается на его локоть свободной руки, и они вместе движутся дальше. Поскольку у обоих слабое зрение, они не особенно различают лиц друг друга, отчего у них нет необходимости подолгу друг на друга смотреть; и вот они шагают рядом, рука об руку, глядя перед собой и блаженно улыбаясь. Должно быть, эти улыбки отвечают их тайным грезам: они видят себя такими, как были много лет назад, какими любили друг друга и запечатлелись друг у друга в памяти навсегда. Что значат их гнилые зубы, гноящиеся глаза, сальные волосы? Ничто не может развеять воспоминания, которые они сохранили друг о друге, и неизбежную обоюдную нежность, некогда соединившую их на вечные времена. Их счастливая слепота хранит их от вида их общего убожества, очевидного для всех остальных.

У обоих есть супруги: у него – немощная жена, у нее – бессильный муж; но оба живут лишь ради того, что еще сохранилось от их былой любви и что заставляет их каждое утро выходить вместе на прогулку – от одного тротуара к другому, из одного магазина в другой. Весь квартал их знает: и продавцы, к которым они заходят, и покупатели, которые встречаются с ними в магазинах, и консьержки, которые вот уже четверть века изо дня в день наблюдают за их прогулкой, всё более и более медленной, по мере того как тяжелеют их шаги и близится урочный час. Сами они не узнают и не замечают никого – только друг друга.

Самое трогательное – это их расставания. Он стоит на углу рю Перголез, словно Тристан на берегу, глядя вслед уплывающей Изольде; она поминутно оборачивается и посылает ему воздушный поцелуй. Он машет ей вслед еще долго после того, как она исчезает, отчего случайные прохожие из других кварталов пугаются, сочтя его безумным.

\*

163

Студентка, которую ее сокурсники считают умалишенной, сходна с настоящими безумцами лишь в одном: для нее не существует ничего, кроме ее собственных идей и ее профессора. Зачастую и профессор отходит на второй план, оставляя только идеи.

Вот она идет, словно окруженная своей персональной атмосферой – растрепанная, в драном платье и стертых до дыр башмаках. Но что ей за дело? У нее нет зеркала, и она не хочет никому понравиться.

Когда она опаздывает на лекцию, что случается редко, профессор торжественно провозглашает: «О, вот и она!» – желая позабавить аудиторию за счет этой бедняжки. Однажды ей не нашлось места, и она вынуждена была сесть на ступеньку амфитеатра, откуда почти ничего не было слышно. Поэтому в следующий раз она решила принести из дома табурет. Впервые увидев ее, возвышавшуюся в первом ряду на этом табурете, словно на троне, профессор спросил: «А почему не кровать?» – чем вызвал общий смех, но, судя по всему, преданная ученица ничуть не была задета – напротив, она

придвинулась еще ближе к нему, словно желая сесть у его ног, и согласно кивала в такт всему, что бы он ни говорил.

164

Сегодня, когда все студенты с профессором во главе принялись поздравлять и чествовать ее, вначале это казалось очередной шуткой. Но нет – как выяснилось, она написала и передала ему (о чем он объявил во всеуслышание) целое научное исследование, посвященное одному из самых спорных и малоизученных исторических событий, – самое блестящее и самое убедительное из всего, что он когда-либо читал на эту тему. Героиня дня была такой же, как всегда – растрепанной, одетой и обутой кое-как; глядя на нее, можно было подумать, что она никогда не спит и знает абсолютно всё.

\*

Недалеко от моего дома рабочие приводят в порядок железнодорожные пути. Их задача заключается в том, чтобы выдирать проросшую вдоль рельсов траву, и, очевидно, сочтя такую работу унижительной для себя, они нанимают девицу с мускулатурой грузчика. Наверняка им не нравится, что у меня достаточно свободного времени, чтобы наблюдать за всеми их перипетиями из окна в свое удовольствие.

\*

Из окна автобуса мать показывает своему маленькому сыну все магазины автомобилей вдоль авеню Гранд-Арме и Елисейских полей, а также

выставки бытовой техники в Большом и Малом дворцах. К счастью, ребенок ее не слушает и почти ни на что не смотрит.

Она не показывает ему ни Шатле, ни Нотр-Дам – он сам спрашивает, что это такое.

\*

В табачной лавке на авеню Малакофф посетительница долго возится, доставая из сумки неловкими, негнушимися от ревматизма пальцами пять пустых спичечных коробков и меняя их на один полный. Со спины она похожа на верблюда – у нее горб, поверх которого наброшено потертое норковое манто, – но это сходство становится абсолютным, когда она поворачивается и я вижу ее длинное лицо, покрытое легким пушком, и огромные, выкаченные, почти невидящие глаза.

В этот момент появляется юная девушка, небрежно бросает на прилавок целое состояние и забирает дюжину пачек самых дорогих сигарет. Уже направляясь к выходу (что-то выдает в ней горничную из хорошего дома), она узнает в верблюдице, удаляющейся медленными неуклюжими шагами, подругу своей хозяйки и на ходу бросает ей:

– А я думала, что вы уехали, княгиня. Мадам будет удивлена, узнав, что вы еще в Париже.

Девушке явно не хватает стиля – она не понимает, как горничной следует разговаривать с титулованной особой.

Однако она невольно заставляет меня вспомнить о Паскале и вместе с ним поразмышлять о

том, как держатся сильные мира сего, когда предоставлены самим себе – я хочу сказать, когда окружающие не знают, кто они.

\*

Толстая блондинка в декольтированном розовом платье отправляется на рынок в Нейи, словно на бал. Рядом с ней семенит неприметная Золушка с плетеной сеткой в руке.

Я гадаю, кто они друг другу. Скорее всего, две сестры, одной из которых, более красивой, повезло стать любовницей какого-нибудь отставного капитана, а младшей пришлось стать ее служанкой, которую в течение десяти лет кормят впроголодь и унижают вдоволь.

\*

На парапете кольцевой линии метро за моим домом я иногда по утрам вижу карманника, вернувшегося с ночной охоты и изучающего свою добычу, поднося к глазам мелкие предметы один за другим. Есть нечто трогательное в этом обычно невыразительном лице, когда его озаряет отблеск очередного трофея – настолько искренними, почти детскими, выглядят его удивление или разочарование. Каждый его жест читается как авантюрный роман.

Вчера наши гости ушли от нас около полуночи. Пока Элиза провожала их через сад, я, оставшись один, запер ставни окон на первом этаже, выходящих в тупик Малакофф, – и вдруг, выступив из темноты, передо мной внезапно предстал человек, черный с головы до пят. Поначалу испугавшись, я резко захлопнул окно, однако его печальный, даже больше того – полностью отчаявшийся вид меня немного успокоил, и я решил выслушать его, чего бы мне это ни стоило.

Сначала он спросил меня, совершенно наивным тоном, повергшим меня в изумление, не найду ли я для него уголок у себя в доме до завтра, чтобы он смог поспать. Затем рассказал, что совсем недавно его избила жена – и вот, чтобы не убить ее и детей, он сбежал из дома в чем был, полуголый, без верхней одежды и без денег. «Видите, я весь черный, – добавил он, – это потому, что у меня не было времени даже вымыться и привести себя в порядок, когда всё это началось. По профессии я угольщик». Что было делать? Я одолжил ему немного денег, позволяющих снять комнату в ближайшем отеле, и напоследок протянул ему руку, которую он пылко прижал к сердцу, а в следующий миг резко повернулся и сразу же исчез, как человек, который ищет укромное место, чтобы выплакаться.

Я больше никогда его не видел.

Сегодня во второй половине дня, когда я шел через сквер Альбони, направляясь вести урок, я внезапно услышал душераздирающий крик, раздавшийся словно между небом и землей, – и тут же со всех сторон эхом отозвалось множество ответных криков. Я поднял глаза: вдоль стены семиэтажного дома, закрытой лесами (там ремонтировали крышу), где-то на уровне четвертого этажа обрушилось вниз облако пыли и мелкого щебня, в котором мне не сразу удалось различить человеческую фигуру. Не успел я опомниться, как человек рухнул на тротуар, всего в нескольких шагах от меня. Когда я приблизился, его уже со всех сторон окружили другие прохожие. Мы попытались его поднять, но это оказалось совершенно невозможно: у него не осталось ни одной целой кости, позвоночник был сломан в нескольких местах. Перед нами было уже не человеческое тело, и даже не труп, не останки – какое-то бесформенное месиво, растекавшееся под одеждой, как желе или вязкий клей. Только глаза открывались, закрывались и открывались снова, как будто только они и продолжали жить, преодолевая отвращение от вида всего остального, и губы судорожно подергивались, что-то бормоча – но вместо звуков наружу выходили сгустки крови.

Затем к нам присоединился начальник стройки и рассказал, что этот человек – рабочий, жил недалеко отсюда, в квартале Гренель, в доме напротив. Дощатая платформа строительных лесов, плохо закрепленная, опрокинулась под его ногой и рухнула, увлекая вниз его и женщину, с которой они незадолго до того вместе обедали и которая в тот момент прибирала остатки трапезы – последней для них в этом мире.



Вчера утром один человек, чей силуэт я уже давно время от времени замечал в окрестностях нашего дома, расположился почти под самыми нашими окнами, с другой стороны от путей метро. Вид у него был сосредоточенный, словно ему предстояло решить серьезную проблему. Кажется, речь шла о том, чтобы разобрать и облегчить свой багаж, с которым он, судя по всему, недавно вернулся из дальнего путешествия. С его левого плеча свисал холщовый мешок, в правой руке был чемодан. И вот он начал доставать оттуда один предмет за другим, явно собираясь как следует их изучить и определить их ценность. Издалека я почти ничего не мог разглядеть, но дело было даже не в этом: я вряд ли смог бы опознать эти вещи даже с близкого расстояния. Единственным, что мне удалось различить, был красный шарф и пара обуви. Рассортировав свое имущество, он убрал мешок в чемодан, собираясь уходить. Однако то, что он оставил лежать на земле, очевидно, тоже представляло для него немалую ценность: он поминутно оборачивался, словно не решаясь с этим расстаться. Наконец он удалился в сторону пустыря, где, усевшись в железное садовое кресло, занялся своим туалетом. Открытый «несессер» лежал рядом с ним на земле, и с помощью его содержимого человек совершал все необходимые процедуры – тщательно, как заправская модница. Волосы и бороду он привел в порядок с помощью вилки, зубной щеткой смахнул пыль со шляпы и с воротника пальто. Потом вынул из кармана флакон и небольшую тряпицу, чтобы почистить жилет. Затем пришла очередь ногтей – он подстриг их портновскими ножницами размером с добрых полметра.

Разумеется, стоило ему подняться и уйти, как я, охваченный поистине кошачьим любопытством, добрался до железнодорожной насыпи, где он оставил часть вещей, и обнаружил там – на миг у меня даже перехватило дыхание – останки сломанной куклы: ее шевелюру, стеклянные глаза и розовые фарфоровые ручки.

Всякий раз, когда я иду навестить Веронику, я рад сделать остановку на рю Вьей-дю-Тампль, недалеко от того места, где убили Людовика Орлеанского, чтобы погладить кота, подопечного монахинь из приюта Сен-Венсан-де-Поль, – большого, пушистого и лоснящегося благодаря заботе ветеринара. Вид у него отрешенный, он полностью сосредоточен на себе – но когда я приближаюсь, надо видеть, как он поворачивает голову, чтобы продемонстрировать мне свое полное равнодушие и одновременно досаду из-за чужого докучливого внимания. Я почти слышу, как он бормочет себе в усы: «Опять им нейдет!» И почти сразу же закрывает глаза от прикосновения моей ладони, словно говоря: «Так и быть, я не стану тебе препятствовать, но я не собираюсь смотреть, что ты там делаешь. Ты трудишься на мое благо».

Однако моя рука столь искусна, поглаживания столь приятны, что мало-помалу удовольствие берет свое, и он, больше не в силах сдерживаться, открыто поворачивается ко мне своей белой мордочкой, озаренной подобием улыбки, а его глаза, которые он время от времени чуть при-

открывает, наполненные истомой и негой, говорят столь красноречиво, как если бы он сказал мне это вслух на человеческом языке:

– Продолжай, ты мне безразличен.

\*

Мы собирались провести выходные в гостях у четы А. В шесть вечера они заехали за нами на своей машине. По дороге они сделали остановку на бульваре Бомарше, чтобы зайти в магазин. Мы остались в закрытой машине вдвоем – Элиза и я.

Едва они скрылись из вида, как в нескольких шагах от нас, на тротуаре, двое мужчин затеяли драку, причем непонятно было, в шутку или всерьез. В выражении их лиц время от времени проскальзывало что-то похожее на страх, но он не казался естественным, произвольным; наблюдатель более искушенный и более хладнокровный, чем мы, считал бы его фальшивым – в нем было что-то механическое, как в гримасах балаганных кукол. Самым странным в этой и без того не совсем обычной потасовке, разыгравшейся на тротуаре, словно на сцене, было то, что прохожие не обращали на нее никакого внимания. Они шли своей дорогой, как ни в чем не бывало – как будто дерущихся не видел никто, кроме нас. Постепенно обоюдная злость противников достигла наивысшей точки. Теперь они наносили друг другу удары с откровенной жестокостью. Неужели никто так и не вмешается, пусть даже они поубивают друг друга? Вот уже второй раз подряд более молодой на вид одерживал верх – поставив ногу на грудь противника, он безжалостно выкручивал ему

руки, и в мучениях несчастного, корчащегося от боли, было нечто столь ранящее душу, столь невыносимое, что мы оба непроизвольно закричали, хотя эти крики были совершенно бесполезны – их слышали только мы сами, сидящие в машине взаперти. Двое полицейских, стоявших в нескольких метрах от нас, с нарочитым вниманием смотрели в другую сторону, а равнодушные прохожие, идущие по своим делам, если и видели наше смятение, скорее всего не понимали, что на нас нашло.

И вот наконец на сцене появился некий двойник Пьеро – бледный и тощий низкорослый человек, который наряду с нами заметил происходящее. Больше того – он первым осмелился, отложив в сторону хлеб, который нес с собой, склониться над двумя одержимыми. Дорого же ему это обошлось. Едва лишь он коснулся живого клубка рук и ног, сплетенных как змеи, – и тут же оба врага, примирившись словно по волшебству, мгновенно вскочили и, объединив свои силы, набросились на него и отшвырнули к ближайшему углу дома, о который он со всего размаха ударился головой. Из проломленного черепа хлынула кровь, вперемешку с ней начал просачиваться мозг. Никто из окружающих опять же не отреагировал – прохожие с озабоченным видом спешили вдоль тротуара, безразличные ко всему, что их не касалось. Только парикмахер, который вышел подышать воздухом у порога своего заведения, увидел все то же самое, что и мы. Его лицо стало белее обмотанной вокруг шеи салфетки, и он даже не подумал преследовать нападавших (печальный урок предшественника был мгновенно усвоен). Он ограничился тем, чтобы оказать помощь жертве, которую перенес, с помощью маленькой продавщицы каштанов, к ближайшей аптеке.

По-прежнему оставаясь на своих местах, мы не могли не отдавать себе отчет в том, что на наших глазах совершилось преступление и, пусть даже мы стали его свидетелями вопреки своей воле, но ничего не предприняли, чтобы ему помешать. Вспоминая эти события позже, мы точно так же не могли объяснить собственного оцепенения, как слепоты всех остальных и невероятного стечения обстоятельств, напоминавших какой-то вселенский заговор, которые роковым образом привели к совершенно бесполезному самопожертвованию несчастного Пьеро.

Но вот вернулись А., и мы снова тронулись а путь. Из-за многочисленных заторов на улицах мы ехали медленно, и через каких-то пятьсот метров я вдруг заметил знакомую парочку, которая переходила через дорогу, направляясь напрямиком в ближайший бар. Физиономии у обоих были мутные, словно у пьяных – они и впрямь казались опьяненными безнаказанностью, после того как явно не в первый раз поиздевались над трусостью окружающих. Сейчас они держали друг друга под руку, словно, обменявшись фальшивыми ударами, теперь оказывали друг другу фальшивые любезности – в то время как ни в чем не повинный, всего лишь в недобрый час вышедший купить хлеба к ужину бедняга, которого они столь незаслуженно покалечили, единственный, кто принял их стычку всерьез и набрался смелости остановить ее, вмешавшись в дела совершенно незнакомых ему людей, серьезно рисковал никогда больше не вернуться домой.

Только что напротив нас уселся пожилой господин, судя по виду, генерал в отставке или профессор академии: львиная голова, белые гетры, монокль, визитка, и всё в таком роде. (В автобусах еще сохранился первый класс, в который мы садимся, только если нет мест во втором.) Каким же нелегким достижением, должно быть, является доброта для людей, экипированных подобным образом и столь одержимых собственной важностью! Всё мировое пространство существует лишь для того, чтобы они разместили там свои руки, свои ноги, свои вещи. Если бы я или мой коллега, отец Мишель, с которым мы возвращались после уроков, случайно наступили ему на ногу, не сомневаюсь, что он бы использовал всю свою власть, чтобы потребовать для нас самого сурового наказания.

На классических французских утренних спектаклях забавно наблюдать за буржуа с густыми усами, их женами и детьми: очень скоро вы замечаете, как они горды самим фактом, что присутствуют здесь – им, в сущности, не нужно ни смотреть, ни слушать, – и с какой бесцеремонностью они захватывают оба подлокотника кресел, едва убедившись, что вы, их сосед, – не из «высших».

Вчера, в отсутствие Элизы, я обедал дома со своим другом. Настоящий праздник!

Как только он ушел, появился голодный бедняк.

Я отдал ему остатки нашего обеда и вдобавок пачку сигарет и немного денег. «Я этого никогда не забуду!» – произнес он, уходя.

Четверть часа спустя он появился снова и, увидев струйку дыма, тянущуюся от моей трубки в полуоткрытое окно, нерешительно спросил:

– Месье, не оставил ли я у вас свой вещмешок?

Я спустился. Вдвоем мы обыскали всё, но тщетно; он совсем смутился и, очевидно, боясь показаться подозрительным, ушел, явно расстроенный.

На следующий день Элиза, копавшая грядки в саду, обнаружила вещмешок, висящий на ветке ели.

Что было делать?

Бедняга ушел насытившимся, но лишенным даже тех немногих вещей, которые составляли все его имущество.

Как же этот мешок меня тяготит!..

В метро я наблюдаю за странной парочкой. Девушке самое большое семнадцать, она едва достает до плеча своего спутника. Видно, что они едва знакомы, но направляются куда-то именно для того, чтобы познакомиться ближе – и она столь же мало этим смущена, сколь он этим горд. Она

следует к своей участи бездумно и безмятежно, словно овечка в стойло или кухарка в кухню. Он, здоровый полнокровный малый, на вид – ученик мясника в отпуске, взволнован куда больше нее. Можно подумать, что намеченная им жертва, несмотря на свою готовность отдаться без всякого сопротивления, внушает ему жалость или страх. Его губы и руки дрожат. Он явно избегает на нее смотреть – и тем настойчивее она пытается перехватить его взгляд своими беспечными, доверчивыми глазами.

\*

Торговец коврами, выходец с Ближнего Востока, расхвалив мне свой товар, добавил:

– Я никогда не вру.

– Это очень разумно, – ответил я, – так вам будут верить на слово.

– Дело в том, месье, – сказал он, – что правда – это самая большая ложь, какая только может быть.

\*

Вчера на площади Пигаль я видел человека, унаследовавшего от своих азиатских предков лишь черты лица и раскосые глаза – кожа его была белой. Это был водитель одной из двух недавно столкнувшихся машин, очевидно, менее пострадавший, который выслушивал своего взволнованного собрата по несчастью – тот перечислял ему все последствия столкновения, жертвами которого стали члены его семьи: «У моей жены сломаны



два ребра, у старшего травма головы, у Люсьенн выбит глаз! Что до Жаклин, ей, возможно, придется ампутировать ногу!» И чем ужаснее звучали эти сведения, тем отчетливее проявлялось удовлетворение на лице азиата. Под конец он чуть ли не возликовал.

Впрочем, кто знает – возможно, он радовался, что те, о ком шла речь, всё же остались живы, хотя смерть прошла совсем близко от них, или поражался невероятному везению собеседника, который в отчаянии выкрикивал: «А у меня – ни царапины! Я вышел из этой мясорубки живым и здоровым, хотя сам же ее и устроил!» При этих словах азиат, уже не сдерживаясь, расхохотался воистину садистическим смехом во все горло, так, что на глазах даже выступили слезы, которые он принялся утирать рукавом.

177

\*

Во время оккупации я однажды услышал разговор двух женщин на улице Виктора Гюго. Одна говорила другой: «Сегодня он эльзасец, завтра немец, послезавтра француз, а потом еврей. Когда имеешь с ним дело, хорошо бы знать, кто из четырех сейчас перед тобой».

\*

Соседская консьержка недавно снова вышла замуж. Второй муж оказался настолько похож на первого, что я некоторое время полагал их одним

и тем же человеком. Когда я простодушно рассказал доброй женщине о своей ошибке, она ответила:

– О, месье, вот если бы вы, как я, спали с обоими, вы бы нипочем их не спутали! Манера обхождения у них совсем разная.

Это было сказано без тени иронии.

Позже она еще высказалась на ту же тему:

178

– Два человека не могут быть похожими, как две капли воды. Говорят: ну, он почти как тот. Тот, да не тот. Ни у кого нету второго себя. Один – это один, другой – это другой.

\*

Сегодня вечером один покупатель в винной лавке жаловался владельцу, что его желудок не принимает аспирин, который, однако, необходим ему для лечения ревматизма.

– О, месье, так почему бы вам не поступить, как я? – отвечал виноторговец. – У меня тоже ревматизм, и я принимаю аспирин – но, так сказать, задом наперед. Поэтому мой желудок, который тоже не переносит его, не страдает. Сходите к мадемуазель Флипо, на авеню де Нейи, и скажите, что вы от меня. Она выдаст вам сколько угодно свечей – по желанию.

– Что значит «по желанию»?!

– О, извините, месье, я не хотел вас обидеть! Я имел в виду – по предписанию.

Два месяца назад Альбертина вышла замуж в Двенадцатом округе – и с тех пор каждое утро, когда она выходила из автобуса на площади Виктуар, ее поджидала женщина, которая шла за ней и осыпала ее бранью всю дорогу до магазина, где та работала.

Однажды Альбертина пожаловалась на это своей матери, оставшись с ней наедине, без мужа, – в надежде, что мать, обладавшая луженой глоткой, согласится проводить ее и в перебранке одержит победу над злоязычницей. Но мать, не ставившая под сомнение порядочность дочери, рассказала обо всем зятю за ужином и добавила, что именно ему, Жозефу, а не ей, надлежит позаботиться о том, чтобы его жену уважали.

На следующее утро, несмотря на протесты Альбертины и собственное нежелание – но как было послушаться тещи? – Жозеф сел вместе с женой в автобус и доехал до ее остановки. Обличительница была на том же месте, что и всегда, и сразу завела свою привычную шарманку. Жозеф приблизился к ней, чтобы заставить замолчать, как вдруг она огорошила его, заявив:

– Вам, молодой человек, может и наплевать на свои рога, а мне нет! За неделю до вашей свадьбы я застучала вашу жену с моим мужем у нас в гараже. Они там хорошо проводили время, будьте уверены! Я решила, что ей это даром не пройдет, и отомстила, как могла.

У бедного Жозефа разом опустились руки. Вернувшись домой, он сказал теще:

– Я всегда знал, что счастье не для меня. Теперь моя жизнь погублена окончательно.

Несколько дней назад мы встретили его во время воскресной прогулки в Порт-Майо. Он шел между Альбертиной и тещей.

– Это что-то фатальное, – сказала Элиза. – Стоило мне взглянуть на него, я сразу подумала, что у него лицо мученика.

– Вот и я тоже.

Недалеко от Марсова Поля одна женщина заперлась в своем доме и около получаса выдерживала осаду полицейских, прибывших ее арестовать.

Наконец она появилась на пороге – высокая, костлявая, полностью одетая в черное. «Теперь я вас поведу!» – заявила она и двинулась вперед, словно императрица во главе своей свиты.

Комиссариат располагался не очень близко, и всю дорогу арестантка то и дело меняла походку и всю манеру поведения: она то семенила мелкими шажками, то устремлялась вперед почти бегом, и точно так же переходила от оскорблений – «Тупицы, грубияны, идиоты!» – к извинениям: «Не обращайтесь внимания на то, что я говорю, главное – что я думаю. А думаю я, что вас мне сам бог послал – за такими, как я, должны присматривать ангелы...» – и тут же, прерывая сама себя: «Ангелы? Черти вы, а не ангелы!» Затем снова: «О, прошу прощения!» – и «Мне просить у вас прощения?! С чего? За что?»

Когда ее наконец доставили в полицейский участок, она двинулась по коридору, низко опустив голову, и, не видя ничего перед собой, с такой силой ударилась головой о стену, что упала на пол почти без сознания.

В тот же вечер я предпринял небольшое частное расследование – отправился к ее дому, чтобы расспросить соседей. «Ах, месье, – поведала мне консьержка, – это всё из-за кошек. Это из-за них ей кто-то отомстил». – «Каких кошек? За что отомстил?» – «Соседских кошек, каких же еще? Мою она похитила самой первой – подманила чем-то, и с тех пор я ее больше никогда не видела, бедняжку. Вот уже два года эта сумасшедшая воюет с ними, по всей округе... Может быть, она продает их шкурки, а мясо съедает? Ума не приложу, что еще, ради всего святого, можно с ними делать? С кошками-то?.. Но что я могу сказать наверняка – из-за нее они перевелись по всей округе, не только в нашем квартале. Для чего-то они ей нужны, и уж точно для чего-то нехорошего. Если хотите знать, что я думаю, месье, – никак не могу отделаться от этой мысли, – она наверняка ведьма!»

\*

Проходя по улице Берлиоза, я часто замечаю в одном и том же окне прелестное женское лицо. Передо мной будто оживает один из портретов Латура, выполненный в пастельных тонах: белокурые волосы с голубоватым отливом, длинные ресницы, прекрасные глаза, светлая шаль, повязанная крест-накрест на пышной груди, – и, словно для того, чтобы еще усилить это сказочное очарование, по обе стороны от нее возвышаются две статуэтки драконов из китайского фарфора.

К несчастью, однажды утром, по пути на рынок, я повстречал ее на улице – это оказалась карлица, с трудом ковыляющая на кривых коротких ножках.

«Шнурок» – так называли его во всем квартале, потому что к своему первому причастию этот разбитной малый явился, повесив поверх парадного костюма роскошные золотые часы на обычном шнурке и ничуть не смущаясь тем, как нелепо это выглядело. Часы были подарком крестной, которой она передала ему утром, а вечером собиралась добавить к ним золотую цепочку. Так она и сделала – но прозвище уже прилипло к нему.

Повзрослев, он стал очень хорош собой и занялся частным извозом. В него без памяти влюбилась одна уродливая и богатая старая дева, которая, не найдя другого способа с ним сблизиться, стала его самой выгодной, а потом и единственной клиенткой.

Она нанимала его вместе с его лошастью и коляской на целый день и, сказав лишь: «В путь!» – все остальное время довольствовалась тем, что сидела рядом с ним, не говоря ни слова. Он тоже молчал всю дорогу, до самого возвращения.

В конце концов ему это наскучило, и он сказал своей жене: «Давай уж и ты покатайся!» И вот они стали ездить все втроем, одними и теми же привычными маршрутами: от Марэ до площади Этуаль, от площади Этуаль до Порт-д'Итали.

Эти совместные поездки продолжались довольно долго и закончились лишь после того, как у мадемуазель Милу (такую фамилию носила старая дева) не осталось больше денег.

Тогда Шнурок и его жена позвали ее жить к себе домой, где очень скоро низвели до положения служанки. Кажется, именно по этой причине прозвище «Шнурок» приобрело новый смысл –

среди жителей квартала оно стало использоваться для обозначения бессовестного обманщика и прощелыги. Бывает же так, что вполне обычное слово становится прозвищем, а потом превращается в метафору, и всё вместе напоминает сундук с двойным дном – забавно, не правда ли, Жан?

\*

183

Странная манера знатной дамы: не менее трех-четырёх раз в час маркиза де *T.* подносит кончики пальцев левой руки ко рту, чтобы увлажнить их слюной, а затем проводит ими по бровям и гладко причесанным на прямой пробор волосам, умащивая их столь необычным бальзамом.

Эти непринужденные, грациозные движения, которые она совершает, не прерывая разговора с вами и ничуть вас не стесняясь, не лишены даже некоторого шарма, но есть в них и нечто омерзительное, отталкивающее. С другой стороны, когда имеешь дело с женщиной столь выдающегося ума, благородного происхождения и воспитания, невольно думаешь, нет ли здесь чего-то нарочитого, умышленного – возможно, сознательной имитации чьей-то мании, о которой она узнала из книг по истории Великого Века, ее любимой эпохи<sup>7</sup>, – мании, присущей какой-то известной титулованной красавице, княжеского или даже королевского рода.

---

7 Имеется в виду период правления трех первых королей из династии Бурбонов – Генриха IV, Людовика XIII и Людовика XIV, длившийся с 1589 по 1715 г.

Казалось, он сделал ее несчастной – но вот, стоило ему умереть, оставив ее богатой вдовой, она воздвигла на его могиле красивую часовенку из черного мрамора – не столько для того, чтобы там молиться, сколько для того, чтобы сидеть рядом в уютном кресле, прямо напротив огромного свадебного портрета ее и месье Живерно, с чтением или вязанием. Она приходила туда каждый день после полудня и оставалась почти до вечера. Чтобы не нужно было далеко ходить, она сначала приобрела домик неподалеку от кладбища Пантен, а потом, когда ноги совсем отказали, – лошадь и карету с двумя фонарями по бокам, затянутыми траурным крепом. И продолжала каждый день, к двум часам, приезжать на то же место.

– Судя по тому, во сколько всё это обошлось, – заметил я, – месье Живерно был по меньшей мере министром!

– О, ну что вы, вовсе нет! – отвечали мне. – Он всего лишь кредитовал с полсотни мясных лавок во всем Париже.

На авеню Малакофф бабушка говорит внучке:

– Опять ты сидишь на самом копчике. Задница-то у тебя на что?



Месье и мадам Х., наши соседи, весьма богатые, живут затворниками. Он целыми днями ходит вдоль веранды первого этажа, повторяя без остановки: «Какая тоска, какая тоска!» – и наконец его недовольная жена появляется на веранде второго этажа и тоже начинает ходить туда-сюда, но, словно наперекор ему, всегда в противоположном направлении, бормоча: «Это всё ты, это ты на меня тоску нагоняешь!» Эта своеобразная гармония длится до тех пор, пока мадам не спускается на пять ступенек вниз, а месье не поднимается на пять ступенек вверх. Сойдясь на середине лестницы, они смотрят друг на друга с таким видом, словно готовы плюнуть друг другу в лицо, после чего каждый удаляется к себе в спальню.

Один из моих соседей рассказал мне, что у его знакомого, профессора ботаники, который живет на последнем этаже дома на Елисейских Полях, любимое развлечение состоит в том, чтобы каждый вечер, приведя в порядок все свои растения, подняться в маленький бельведер и там допоздна играть на барабане.

Почти одновременно из-за угла авеню де Буа появляется грузный вальяжный господин с двумя великолепными немецкими овчарками, а из-за

угла рю Перголез – приземистая пожилая дама в сопровождении двух бульдогов, таких же старых, жирных и с трудом ковьяляющих, как и она сама, словно ей доставляет удовольствие множить вокруг себя образы собственной старости, ожирения и немощи. Если на грузного господина стоит посмотреть хотя бы ради того, чтобы полюбоваться его свитой, то с другой стороны – одно сплошное уродство. Однако оба «коренных» в этих тройках приветствуют друг друга и, остановившись, завязывают беседу – точнее, говорит только она. Будучи массажисткой на пенсии, которой доводилось, как поговаривают, видеть обнаженными и растирать «всех этих дам» от площади Этуаль до Порт-Майо и от Порт-Майо до Дефанс, – и, без сомнения, выслушивать их откровения, отнюдь не способные послужить украшению чьей-либо репутации, – она постоянно злословит обо всех подряд. Однажды пожилой господин, набравшись храбрости, упрекнул ее в этом. «Я бы и рада сказать хоть о ком-нибудь доброе словцо, – отвечала она, – так ведь никто мне повода не дает, даже я сама!»

\*

Проходя мимо церкви Сен-Рош, я всякий раз думаю о том, что взгляд королевы Марии-Антуанетты, когда ее везли на эшафот, должен был остановиться на этих старых камнях. Смотрела ли она на статую Клотильды или святых Амвросия и Августина, похожих на небесные отражения епископов из «Золотого века» Бунюэля?

Сегодня вечером на улице я услышал романс, звучащий из открытого окна. «О, месье, какая прекрасная музыка!» – воскликнул проходивший мимо почтальон. – «Вы сентиментальны?» – «Да, месье». – «Ну что ж, придется вам страдать». – «О, месье, всё уже свершилось! Я страдаю». – «Что же с вами случилось?» – «Я был женат на женщине, слишком красивой для меня, и она ушла от меня к другому, более красивому, чем я. Я по-прежнему люблю ее, у нас есть общий ребенок двадцати месяцев от роду, которого она забрала с собой». – «Она еще вернется к вам». – «Нет. Ах, если бы я знал!.. Я имел глупость позволить ей работать в «Туристе», на авеню Гранд-Арме. Это была роковая ошибка. Будете проходить мимо – зайдите. Она работает в баре. Красавица, сами увидите. Невозможно в нее не влюбиться!»

187

И он ушел своей дорогой.

На следующий день я повстречал его буквально в двадцати метрах от «Туриста». «Ага, попались! – воскликнул я. – Стало быть, вы бродите здесь в надежде ее увидеть?» – «О, нет, месье, как раз наоборот – я брожу здесь, потому что сегодня у нее выходной, я точно знаю. Если бы она была на месте, я бы не пришел. Для меня невыносимо ее видеть, но я украдкой смотрю на барную стойку и говорю себе: вот здесь она была вчера, здесь она будет завтра». – «Может быть, не стоит так страдать?» – «Ах, месье, когда любишь так сильно, забываешь обо всем – даже о том, что страдаешь».

В три часа дня на площади Виктора Гюго ждет автобуса слепая старая дева в сопровождении тучной дамы. Обeim очень жарко – сейчас июль. Но слепая, несмотря на свою хрупкость, кажется, страдает от жары сильнее остальных – вероятно, потому, что не может отвлечься ни на какое зрелище. Больше того – поскольку она не видит, как все вокруг нее обливаются потом, она подозревает, что жарко ей одной. Внутри у нее копится подспудное раздражение, вспышку которого ее толстая спутница с мокрым от пота лицом тщетно пытается отсрочить.

Наконец прибывает автобус. Он набит битком, войти никто не может, поэтому водитель почти сразу же собирается захлопнуть двери. Но слепая ничего не хочет знать – одной рукой она вцепляется в дверь, другой размахивает проездным билетом. Разумеется, она не представляет, сколько внутри свободного пространства, и к тому же одержима идеей своих прав и чужих обязанностей. Услышав решительный отказ водителя ее впустить, она топает ногами, впивается ногтями чуть ли не до крови в жировую складку на руке своей спутницы, скрежещет зубами и наконец душераздирающе кричит, подобно тому как безвинно осужденный на казнь в последний раз взывает о пощаде: «Я прошу вас всех!..» Но никто не выходит, чтобы уступить ей место, ступенька ускользает у нее из-под ноги, и она с удвоенной силой продолжает свои «я хочу» и «вы должны». Деспотическая, угрожающая, беспомощная, она с пеной на губах рассекает воздух своим зонтиком с такой силой, что рискует кого-нибудь покалечить.

Ее искаженное лицо, чье природное выражение скрыто двойной преградой слепоты и гнева, сейчас выглядит настолько уродливым, что все невольно отворачиваются, лишь бы его не видеть, и первой – тучная дама, явно больше стесняющаяся соседства этой фурии, чем собственной толщины. А сколько людей, не будучи слепыми, выглядят такими же отталкивающими, когда столь очевидно заботятся лишь о себе.

189

\*

Раздухарившись после военного парада на площади Насьон, какой-то солдатик вызывает на бой самого сильного из борцов, устроивших состязания прямо на улице. Вызов принимают трое, все – более или менее точные подобию Геркулеса, тогда как их противник – обычный пехотинец, довольно хлипкий на вид. Он выбирает себе соперника и – удивительное дело – выходит победителем! Собравшаяся вокруг толпа аплодирует. Монеты дождем сыплются на ковер: «Для бедного солдатика, которому сегодня повезло!» – торжественно провозглашает побежденный, великодушно простив более удачливого борца.

Теперь наступает очередь какого-то гражданского, которому не терпится схватиться с негром, как по волшебству вынырнувшим из-за занавеса. Каждый ставит на кон двадцать франков. И вновь одерживает победу случайный прохожий – хотя на сей раз арбитр оспаривает законность нескольких его приемов. Завязывается спор – сначала между победителем и арбитром, потом – между арбитром и зрителями, которые тоже спешат высказать

свое мнение. Даже оказавшийся в толпе морской офицер снисходит до дебатов, в финале которых выглядит так, будто его сейчас хватит удар, – что немудрено, когда споришь с людьми, которые объединились против тебя и насмехаются над тобой столь дружно и изощренно, что все окружающие начинают хохотать, и в конце концов ты присоединяешься к ним; в сущности, все довольны. Однако вскоре выясняется, что всё это – сплошное надувательство, и даже фальшивый морской офицер был в сговоре с остальными. Это оказалось последней каплей – толпа разъярилась настолько, что едва не линчевала его, как будто у мошенничества есть какие-то правила или, по крайней мере, границы, которые на сей раз были нарушены.

\*

После одиннадцатичасовой мессы из церкви Сен-Фердинан рука об руку выходят мать и дочь. Мать убеждена в том, что создала настоящее произведение искусства из дочери, на чье образование и роскошные туалеты ушли все ее средства, – а та ее презирает.

\*

Сидящая на тротуаре девочка баюкает куклу без рук и без ног, время от времени с неподдельным пылом целуя ее в лоб. Разумеется, этот жалкий обрубок представляется ей совсем не тем, что вижу я со стороны.

В соборе Нотр-Дам я с восьми утра – дело происходит в Страстную Субботу – с интересом наблюдаю за весьма примечательной семейной четой, расположившейся неподалеку от ризницы и ни на минуту не отвлекающейся от нескончаемой службы. Обоим под восемьдесят. Он, огромный и грузный, сжимает в одной руке (и какой руке!) маленькую книжицу, в другой – тоненькую свечку, которая, судя по всему, не очень помогает разбирать мелкие буквы невооруженным глазом. Но даже в ее слабом свете я могу различить его одутловатое лицо сатира, если не Мефистофеля, отмеченное всеми пороками, напрочь лишенное даже тени утонченности или хотя бы иронии.

191

Поскольку парижские каноники при чтении псалмов побивают все рекорды быстроты, наш благочестивый мирянин едва за ними успевает – сбиваясь, задыхаясь, он сначала поет, потом читает вслух и наконец просто шевелит губами, проглатывая отдельные слоги и целые слова божественных откровений; часть слов ускользает от него, и он словно бежит за ними, пытаясь догнать, но, не выдержав, останавливается и лишь провожает их глазами; его губы рассыпают крошки слов, подхваченных на лету.

Мадам сидит неподалеку от него, в складном кресле, – с которым, похоже, не растается никогда, – как на пляже, заняв впридачу два ближайших стула: на одном разложены ее безделушки, другой служит ей пюпитром, на котором лежит раскрытый массивный бревиарий *in quarto*, возле него горит свеча в подсвечнике из тех, что в наши дни можно увидеть только на деревенских кухнях или

в самых убогих отелях в Оранском тупике. Кроме пары очков, на носу у нее лорнет, но очевидно, что ее зрение уже почти угасло – даже этого оказывается недостаточно, чтобы прочесть огромные буквы, каждая из которых сама размером с книгу, – и она водит по строчкам огромной квадратной лупой, похожей на слуховое окно. Несмотря на всю сложность обращения с этой громоздкой механикой, наша Ева, как это часто бывает, справляется с делом гораздо лучше Адама и успевает следить за чтением. С какой быстротой она вновь находит нужное место, стоит ей ненадолго отвлечься либо на собственную живописную тень у своих ног, либо на окружающих – она косится на них с легким презрением, словно и впрямь сидит на пляже, а они неумело барахтаются в воде, вцепившись в свои молитвенники, как в спасательные круги, – и продолжает чтение, не сбиваясь ни на миг!

Я продолжал наблюдать за обоими, как вдруг молодая девушка, выйдя из исповедальни, приблизилась к старухе и заботливо поправила сначала поля ее темно-синей шляпы с вуалью, а потом сбившуюся набок шаль с бахромой. Я услышал, как она почтительно произнесла: «Ваше высочество».

Но кто же они такие, гадал я, эти Престолы, Силы, Власти и Господства?..

Когда священник встает во главе крестного хода, княжеская чета, хотя и обремененная своим скарбом, быстро пристраивается позади него и следует за ним почти по пятам, ни на миг не теряя нить богослужения, вплоть до самого последнего *Амен*.



Каких только обличий не принимает религиозность в Париже!

Один из моих друзей однажды попросил меня сопроводить его в ближайшее воскресенье утром, не уточнив, куда и зачем, сообщив только, что хочет сделать мне сюрприз.

Мы проехали Елисейские Поля, улицу Риволи, предместье Сен-Антуан, и наконец в каком-то бедном квартале наш автомобиль остановился возле самого убогого дома. Поднявшись на пятый этаж, мы оказались в некоем подобии мансарды, где нас встретили десятка два молодых людей обоего пола. Юношей было больше, чем девушек; выглядели все как студенты или служащие.

Сразу же после нашего появления присутствовавший на этом собрании аббат заговорил о недавно изданном теологическом труде под названием «Душа места». Я скромно признался, что не читал этой книги, в ответ на что раздалось сначала несколько приглушенных смешков, а затем надо мной принялись насмехаться в открытую: подобное невежество с их точки зрения было явным признаком недалекого ума. Возможно ли, чтобы кто-то, полагающий себя христианином, да хотя бы и просто мыслящим человеком, имел какие-то другие духовные ориентиры, кроме этой «Суммы», каждая строчка которой являла собой компендиум всех наук, а полное содержание вызвало бы восторженные похвалы у работников по-

следнего часа?<sup>8</sup>Мое смирение не послужило мне ни малейшим оправданием в глазах этих пылких неофитов, которые – я это чувствовал – раз и навсегда отлучили меня от своей общины, лишили своей благодати.

194

Далее разговор зашел о церковных обрядах, которые, по общему мнению собравшихся, произросли из магических. Несколько смущенный моим видом, аббат поспешил отвлечь мое внимание от этих рискованных утверждений, признав, впрочем, что некоторая доля истины в них есть, поскольку в Евангелии от Иоанна, пусть даже оно последнее из четырех и стоит как бы особняком, сказано: «В начале было Слово», и эту фразу всегда приводят в доказательство действенной силы экзорцизма.

Затем перешли от разговоров к действиям, то есть к Святой мессе. Надо сказать, что присутствие на ней отнюдь не ослабило моего изумления. Мы перешли в другое помещение – узкую комнату с затянутыми белой тканью стенами. Посреди стоял грубо сколоченный деревянный стол, накрытый обеденной скатертью, а над ним возвышался простой гладкий крест: это был алтарь. Служба началась, и вскоре я был невольно заворожен видом окружавших меня лиц: на всех было одно и то же экзальтированное, почти экстатическое выражение. Мирские одеяния собравшихся скрылись под балахонами из небеленого холста, которые, как мне показалось, символизировали подвенечные наряды.

---

8 Отсылка к библейской притче (Матф., 20:1–16). В широком смысле "работниками последнего часа" в христианстве называют пророков, апостолов, мучеников, Отцов Церкви, религиозных философов и т.д.

Настоятель здешней церкви, горбун с восковым лицом, читал псалмы – стих за стихом, с глубоким волнением, от которого всё его тело охватывала дрожь. Казалось, он не читает текст, а пророчествует в лихорадочном бреде.

И, разумеется, весь этот маленький мирок свят – но его уверенность в том, что он один обладает истиной, придает ему такое самодовольство, такую претенциозность в стремлении отлучить, отторгнуть от себя всех тех, кто к нему не принадлежит, – что я начинаю ощущать почти физическое удушье. Что может быть невыносимее, чем эта елейная атмосфера, это скопление одинаково фанатичных лиц? Я едва удерживаюсь от того, чтобы взмолиться о пощаде, или распахнуть окна, или выбежать за дверь. Я мечтаю только об одном – поскорее оказаться на воздухе.

После службы начинается общая трапеза, состоящая из чая с сухариками. Обрадованный тем, что наконец-то все хоть немного расслабились, я пытаюсь выяснить, какую цель ставит перед собой это новоявленное братство. Полученный мною ответ сдобрен такой щедрой порцией иронии, что я лишь утверждаюсь в своем мнении о том, что цель у них одна: отделиться, обособиться от всех и вся, чтобы превозносить самих себя и обливать презрением остальных христиан и целый мир – так презирает своего соседа, носящего шляпу, тот, кто считает за благо обходиться без нее. Когда я берусь за свою собственную, я окончательно превращаюсь для них в посмешище. Оно и к лучшему!

Я навел по его просьбе одного художника, живущего уединенно неподалеку от меня в небольшом доме, из которого он сделал что-то вроде больницы или морга для старых вещей – хотя сам он предпочитает именовать его музеем. Здесь он собирает самые разные предметы, ветхие или сломанные, а также причудливые детали и обрывки непонятно чего, и окружает их заботой, словно священные реликвии. Здесь можно увидеть обломки игрушек, статуй, надгробных плит или алтарей, архитравов и колонн всех видов, целые коллекции карнавальных масок, париков, исторических костюмов, ветхие ключья дорогих тканей из далеких стран или знамен – как старинных, так и подобранных на полях недавних сражений. Здесь и там – букеты искусственных цветов или образчики редких минералов, соседствующие с разрозненными костями скелетов. Огромный выбор элементов и собственное искусство позволяют ему создавать удивительные композиции, чарующие, почти завораживающие, из этих случайных вещей, этих свидетелей былых эпох, этих осколков великой драмы, «драмы Жизни», которую, кажется, воссоздаешь перед собой столетия спустя, и которая сохранится навечно, даже после того как будут стерты последние воспоминания о человеке и о земле.

Например, стоящий в окружении множества фарфоровых кукольных голов всех размеров гипсовый крест, в центре которого укреплены две соединенные полукругом кукольные ножки, служит подставкой для букета искусственных лилий с кружевными лепестками, обшитыми греческим

тюлем. С потолка здесь и там свисают гирлянды разноцветных лампочек вперемешку с четками из граната и ляпис-лазури, и целые гроздья хрустальных подвесок, некогда украденных с венецианских люстр. Но все эти вещи не имеют почти ничего общего с собственными изображениями на фотографиях – вот где они раскрывают в полной мере и свой смысл, и отсутствие смысла, и сквозящий в каждой из них неповторимый оттенок своеобразного безумия.

197

*Н.* совершенно непринужденно занимается своей живописью в этой атмосфере. Он признался, что моделью для одной из его картин послужил один из тех деревянных или восковых бюстов, что назывались когда-то «симфорозами» – раньше их можно было увидеть в салонах модисток и в магазинах нижней одежды. Настоящее чудо было в том, что на картине эта образаина улыбалась, как Эриния, готовая, впрочем, преобразиться в Эвмениду<sup>9</sup>.

*Н.* отдает предпочтение картону перед холстом – вероятнее всего, из скромности. От этого с первого взгляда лица и пейзажи предстают бледными, тусклыми, и вы уже готовы разочарованно отвернуться, как вдруг замечаете какой-то необычный отблеск, потом еще один – и вот они всё множатся, по мере того как вы вглядываетесь в картину – до такой степени, что если прежде какая-то деталь казалась матовой, полностью лишенной блеска, то теперь она блестит и переливается, словно покрытая лаком, заставляя вас моргать от изумления.

---

9 Эринии – в древнегреческой мифологии богини мщения. Эвменидами (т.е. «Милостивыми») называли Эриний, проявлявших милость к раскаявшемуся преступнику.

Там, где вы прежде увидели зловещую сову, внезапно оживает райская птица. В мрачном облике бледного, нездорового молодого человека вдруг проступает хрупкая утонченность Прекрасного Принца, которой так настойчиво искал Оскар Уайльд, в неверном свете отблесков ночной грозы.

Первые дни весны 1951 года.

Я останавливаюсь перед уличным газетным прилавком, за которым стоит моя любимая молоденькая продавщица – она хороша собой и ни на минуту об этом не забывает.

Солнце золотит газетные страницы, отблески света озаряют ее лицо, она вся сияет.

– Вы ослепительны! – говорю я от чистого сердца.

Она отвечает со столь же непритворной искренностью:

– ...и ослеплена!

Когда я приблизился к Лувру, чтобы пересечь площадь и отправиться к Ришару Анакреону, я заметил впереди бесформенную расплывчатую фигуру. похожую одновременно на привидение и на огородное пугало. Ускорив шаги, я разглядел, что это женщина в невероятной шубе, сшитой из клочков самого разного меха: тут были каракуль и белка, опоссум и выдра. Поравнявшись с ней,

я повернул голову. Ее лицо было со всех сторон окружено ворохом мешков и свертков, которые громоздились у нее за спиной или свисали с плеч.

Набравшись храбрости, я спросил:

– Эй, мадам, куда это вы собрались в таком виде?

(Я обожаю клошаров.)

– В Канаду! – ответила она пропитым голосом.

– А, тогда понятно, зачем вам шуба...

– Да, – отвечала она, – но вы знаете, месье, я не слишком тороплюсь. Если хотите, меня всегда можно найти в одном отеле, недалеко отсюда...

– Спасибо, я буду знать. Но, поскольку я не еду в Канаду, я, наоборот, тороплюсь...

Ничуть не смущаясь моим ответом, она продолжала:

– А как вы думаете, месье, там можно стать счастливым?

– Почему бы нет? Счастливым можно стать везде. Достаточно захотеть им быть, или поверить, что ты уже счастлив.

– Вы правы. Решено, я никуда не еду!

И пошла своей дорогой.

\*

В автобусе, следующем от площади Мадлен к площади Бастилии, напротив меня развалился человек, чем-то похожий на Марсея Пруста – слегка оплывший, бледный, с тонкими усиками, в мягкой шляпе, сдвинутой на одно ухо, и огромными выпученными глазами, обведенными чернотой – такие до сих пор можно увидеть нарисованными на дне сувенирных ночных горшков.

Женщина, сидящая рядом с ним – его любовница, как я предположил, – одета с элегантностью начала века: плюмаж, боа, ботики на пуговках. (Или это его мать? Она выглядит старше него.)

Но что же за газету читает Марсель? Я слегка наклоняюсь, чтобы ее разглядеть. «Юманите»!

Альбертина, заметив мой излишний интерес к своему другу (или сыну?), слегка подталкивает его локтем и раздраженно шепчет:

200

– Еще один...

– ...скользкий гад! – тут же добавляет он.

\*

Сегодня утром я заставил Андре Б. посетить Нотр-Дам. Эти молодые люди устраивают пикники на соборных башнях – и даже не думают о том, чтобы войти в святилище!

Потом мы зашли в колбасную лавку и купили сосисок к обеду, а после, когда на пути у нас оказался цветочный рынок, я не мог удержаться, чтобы не познакомить Андре со своей любимой цветочницей, вылитой постаревшей Режан<sup>10</sup>, единственной, которая продает настоящие сердцевидные цветы, а не какие-то ужасные сорняки, пахнущие аптекой.

Сколько блеска и остроумия в речах этой славной женщины, сколько достоинства в ее манере кивать головой, сколько величия в каждом жесте! И особенно ее прическа и ее голос напоминают мне ту великую актрису, на которую она так похожа – комичную именно потому, что она никогда

---

10 Знаменитая французская комедийная актриса (1856-1920)



не смеялась, заставляющую вас смеяться на грани слез, сочетающую флегматичность и скрытую страсть.

– В сущности, – сказал мне Б. после этого знакомства, – под вашей хрупкой и уязвимой наружностью таится настоящий колосс – не даром вам так нравятся женщины-титаниды! Только они – единственные, кто вам под стать!

201

\*

В метро я случайно услышал трогательный разговор двух мужчин, которые очень долго не виделись и вот теперь снова встретились – за четверть часа они рассказали друг другу всю свою жизнь. Но самой волнующей была их манера замолкать, опуская глаза, когда они случайно касались друга плечами.

Поскольку мое восхищенное внимание не могло не отразиться на моем лице, какой-то японец, сидящий напротив, в течение всей поездки смотрел на меня столь пристально, что, когда я встал и вышел на своей остановке, меня не покидало ощущение, что я грубо разорвал невидимые нити, связавшие за это время его и меня.

\*

В это январское утро 1951 года в первом классе метро напротив меня села невозможная, невероятная, совершенно неправдоподобная женщина – ноги ее были скрещены чуть ли не под подбородком, юбка слишком коротка, чтобы не заметить

комбинации, на плечах – норковое манто, на запястьях – браслеты столь же массивные, сколь и дорогие. Глаза газели на костистом лице алезанской кобылы, длинном, словно уходящим под золотистую гриву, пряди которой колыхались подобно водорослям. Что-то очень юное и вместе с тем древнее во всем облике. Что-то от Зверя Апокалипсиса.

202

Лишь когда она встала, собираясь выходить на площади Этуаль, и случайно задела рукой край своего шейного платка, я заметил на изнанке крупные инициалы (даже я смог их прочесть): «Ее Светлость *Y. de S. C. G.*» (весьма знатный род).

– Неужели еще существуют подобные создания? – потрясенно выдохнула рядом со мной какая-то мидинетка.

– Скоро они вымрут, как динозавры, – отозвался я. – И нам останется любоваться лишь на муравьев.

**Издательства Kolonna Publications и  
Митин Журнал представляют**

Марсель Жуандо

**ШКОЛА МАЛЬЧИКОВ**

В 1948 году шестидесятилетний философ Марсель Жуандо познакомился с двадцатилетним солдатом Робером Коке. Их любовный роман продолжался 12 лет. В книге «Школа мальчиков» собраны письма Робера и поклонника Жуандо Анри Роде (1917–2004), раскрывающие тайны этой истории. Лишь после смерти Жуандо открылось, что письма Робера писал Анри, подстроивший встречу своего кумира с юношей.

Марсель Жуандо

**НЕПРИСТОЙНЫЕ ПИСЬМА**

Гетеросексуальность – это коммерция, индустрия; гомосексуальность – искусство. Древние греки запрещали гомосексуализм рабам. Что до меня, я хотел бы, чтобы он был дозволен лишь мудрецам.

**Издательства Kolonna Publications и  
Митин Журнал представляют**

Марсель Жуандо

**МОЙ БЕСТИАРИЙ**

Тесные, дружеские и при этом искренние, лишённые всяких недомолвок отношения у нас складываются только с животными. Они осыпают нас ласками, не отмеряя их, и дарят нам поцелуи без счета. Те, кто отказывают себе в обществе собаки или кошки, даже не сознают, сколько они теряют возможностей по-настоящему познать себя, соизмеряя с этими маленькими существами, гораздо менее отличными от нас, чем нам кажется. Во многих случаях они имеют право гордиться собой гораздо больше, чем мы.

Рене Кревель

**ТРУДНАЯ СМЕРТЬ**

В 1925 году на вопрос сюрреалистической анкеты о самоубийстве Рене Кревель ответил «Это, возможно, самый верный и совершенный выход». Пьер Дюмон, герой его знаменитого романа «Трудная смерть» (1926), тоже не находит другого выхода. Он страстно влюблен в американского композитора Артура Браггла, а тот делает вид, что Пьер ему наскучил.

**Издательства Kolonna Publications и  
Митин Журнал представляют**

Марсель Жуандо

**ЛЮБИТЕЛЬ НЕОСТОРОЖНОСТИ**

«Липсе сидел на обочине дороги, видом и облачением подобный ангелу. Земля была нежной, как ласка, и неподвижная улыбка моего друга меня успокоила. Я прижался головой к его сердцу. И тут же его руки превратились в огромный волшебный лес, где я увидел странных птиц и огненных хищников – львов и тигров, которые смотрели на меня с любовью и восхищением, словно я был местным божеством. Я позвал Липсе, и лес ответил мне его шепотом; каждый листок знал мое имя».

Хьюберт Селби  
**БЕС**

Гарри Уайт надеется разбогатеть, сделать карьеру, жить с очаровательной женой и милыми детьми в большом доме. Всё это ему удастся, но темная сила не позволяет Гарри насладиться достигнутым. Благополучный менеджер одержим запретными желаниями: он жаждет совокупляться, воровать, убивать!

## Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Гертруда Стайн

### ИДА

10 декабря 1936 года Эдуард VIII подписал отречение от престола ради того, чтобы жениться на Уоллис Симпсон. Известие об этом стало мировой сенсацией. История британского короля и его возлюбленной привлекла внимание Гертруды Стайн. Она решила написать роман «Ида», героиней которого стала бы Уоллис Симпсон. Но постепенно замысел книги менялся. Ида все меньше походила на герцогиню Виндзорскую. Она путешествовала по Америке, перебираясь из одного штата в другой, заводила собак, встречала разнообразных мужчин, порой выходила замуж и наконец обрела Эндрю, своего короля.

Эрве Гибер

### ЦИТОМЕГАЛОВИРУС

„Цитомегаловирус“ был опубликован в январе 1992 года, всего через несколько недель после смерти Эрве Гибера в больнице, куда его доставили из-за попытки самоубийства. „Слова побеждают все!“, – говорил писатель. Его дневник это подтверждает.

**Издательства Kolonna Publications и  
Митин Журнал представляют**

Эрве Гибер

**Я И МОЙ ЛАКЕЙ**

Очень странные ощущения, когда открываешь посреди ночи глаза и видишь стоящего рядом лакея – в домашнем халате или пижаме, которую я носил, когда был молод, или же голого, с накинутой на плечи меховой шубой, которую я заказал себе, когда ездил в Москву, – лакей смотрит во мраке, не говоря ни слова, сверля меня взглядом поблескивающих желтых глаз.

Эркюлин Барбен

**ВОСПОМИНАНИЯ ГЕРМАФРОДИТА**

Судьба Эркюлин Барбен (1838–1868), мужчины, которого двадцать лет считали женщиной, – загадочна и драматична. Автобиографические заметки Барбен являются не только уникальным историческим свидетельством, но и в высшей степени захватывающим чтением. Во Франции они были подготовлены к печати знаменитым философом Мишелем Фуко для первой части задуманной им серии «Параллельные жизни».

## Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Эрве Гибер

### МОИ РОДИТЕЛИ

Почему двоюродная бабка Луиза перевернула вверх дном квартиру своей сестры Сюзанны? Какие документы она пыталась отыскать, и что было в сожженных письмах? Правда ли, что в них говорилось о постыдном проступке матери Эрве Гибера? Зачем его отец срочно покинул Ниццу, бросив свой ветеринарный кабинет, парусник, зеленый форд, двух лошадей и невесту? К какому шантажу прибегают родители маленького Эрве, дабы заполучить семейные реликвии? И где спрятано золото, которое то закапывают, то выкапывают, не в силах расстаться с ним? – Для родителей нет ничего страшнее неудержимой тяги сына к поискам истины.

Эрве Гибер

### ГАНГСТЕРЫ

Эрве Гибер написал «Гангстеров», когда уже был болен неизлечимой болезнью. Он ни разу не упоминает ее, но повествование наполнено страхом смерти. Критик газеты Le Monde назвал эту книгу «трактатом о боли».



## Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Эрве Гибер

### ПОРОК

Гибер показывает нам странные предметы – вибрирующее кресло, вакуумную машину, щипцы для завивки ресниц, эфирную маску, ортопедический воротник – и ведет в волнующий мир: мы попадаем в турецкие бани, зоологические галереи, зверинец, кабинет таксидермиста, открывая для себя видения и страхи писателя и фотографа. Книга, задуманная и написанная в конце 70-х годов, была опубликована незадолго до смерти писателя.

Эрве Гибер

### ПРИЧУДЫ АРТУРА

Я хотел рассказать историю святого, живущего в наши дни и проходящего все этапы, ведущие к святости: распутство и жестокость, как у Юлиана Странноприимца, видения, явления, преображения и в то же время подозрительная торговля зверями. В конце – одиночество, нищета и, наконец, стигматы, блаженство.

## Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Эрве Гибер

### СМЕРТЬ НАПОКАЗ

Язык и член – полны жизни – оголены, у них нет кожи. Язык – говорит, мокнет в слюне, ест, сосет, входит внутрь и выходит. Член – его едят, он сам ест и льет свое семя. Излияния слов, слюны, спермы. Гомосексуальное тело – анально-фаллическое письмо. Именно тело, конечно же, говорит, пишет, исследуя себя и вписывая себя в текст. Устраивает представления, впадает в истерику, занимается садомазохизмом. Говорит о желании и оргазмах. Раскрывается, рвется, буравится. Описывает свои органы и заставляет играть их, словно музыкальные инструменты. Состоять в садомазохистских отношениях с письмом, – посредством его – вскрывать, препарировать собственное тело и препарировать самое письмо.

Эрве Гибер

### МАЛЬВА-ДЕВСТВЕННИК

Не сам ли Гибер скрывается за этими странными персонажами, меняющими имена и представляющими в образах юного девственника, пылкого любовника, жертвы землетрясения или ученика, провожающего великого философа до могилы?

## Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Катрин Колом

### ДУХИ ЗЕМЛИ

Древние волны потихоньку разрушают стены замков, деревья плетут заговор, лесные существа, боящиеся света, обступают деревню плотным кольцом, ядовитые пауки бегут с берегов озера на террасы, черви заползают в желудки, и дети-призраки, играющие на зеленых трубах, вот-вот найдут звук, точный, вражеский, от которого дома и церкви рассыпятся до основания.

Кэти Акер

### ЭВРИДИКА В ПОДЗЕМНОМ ЦАРСТВЕ

Главными темами текстов, собранных в этой книге, – от исповеди «Политика» (1972), написанной, когда Кэти Акер работала в секс-шоу на 42-ой улице в Нью-Йорке, до драмы «Эвридика в подземном царстве» (1997), завершенной незадолго до смерти писательницы от неизлечимой болезни, – остаются чувственность, язык, насилие, принуждение, власть. Письмо, безумие, власть, насилие, тело. Чувственность, язык, тело, власть, безумие.

**Издательства Kolonna Publications и  
Митин Журнал представляют**

Гертруда Стайн

**АВТОБИОГРАФИЯ КАЖДОГО**

Окрыленная успехом «Автобиографии Элис Б. Токлас», Гертруда Стайн решила написать сиквел: «И вот приходит время, когда я могу рассказать историю моей жизни». Стайн подробно рассказывает о своей юности, об отношениях с братом. Но особенно ее волнует трансформация собственной личности, случившаяся после выхода «Автобиографии Элис Б. Токлас». Детально описана поездка в США, перемены, происшедшие с Америкой за тридцатилетнее отсутствие Стайн. «Автобиографию каждого» Стайн заключает словами: «Быть может, я – это не я, даже если меня не укусит собака моя, но, так или иначе, мне нравится то, что у меня есть, а сейчас – сегодня».

## Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Герард Реве

### ПО ДОРОГЕ К КОНЦУ

Романы в письмах Герарда Реве (1923–2006) стали настоящей сенсацией. Никто еще из голландских писателей не решался так откровенно говорить о себе, своих страстях и тайнах. Перед выходом первой книги, «По дороге к концу» (1963) Реве публично признался в своей гомосексуальности. Второй роман в письмах, «Ближе к Тебе», сделал Реве знаменитым. За пассаж, в котором он описывает пришествие Иисуса Христа в виде серого Осла, с которым автор хотел бы совокупиться, Реве был обвинен в богохульстве, а сенатор Алгра подал на него в суд. На так называемом «Ослином процессе» Реве защищался сам, написав блестящую речь, и все обвинения с него были сняты. Две книги, впервые публикующиеся в русском переводе, сыграли в жизни Герарда Реве решающую роль и стали подлинным событием литературы XX столетия.

**Издательства Kolonna Publications и  
Митин Журнал представляют**

Йозеф Вахал

**КРОВАВЫЙ РОМАН**

Созданный прямо в типографском наборе без рукописи «Кровавый роман» – литературный памятник, которому нет аналогов. Его можно воспринимать, как образчик автоматического письма, которое проповедовали сюрреалисты, как пост-модернистский коллаж, пародию, произведение книгопечатного искусства, а можно просто читать как приключенческий роман.

Хуан Гойтисоло

**ПЕРЕД ЗАНАВЕСОМ**

Образ репья, растоптанного сапогами российских солдат, сначала отправленных воевать в Чечню царем, потом Ельциным, потом Путиным – часто возникает в моей повести, я пишу об абсурдности и нескончаемости варварства. Зверства побеждают прогресс, в этом смысле в обществе немного меняется, а жестокости гражданской войны в Испании повторяются во всех войнах. Возможно, нас следует назвать бесчеловечной расой?

**Издательства Kolonna Publications и  
Митин Журнал представляют**

Александр Ильянен

**БУТИК VANITY**

Светящееся здание «Бутика Vanity» теперь открыто для посещения. Пустующие этажи романа-ключом и романа-без-вранья, нового романа и петербургской повести Александр Ильянен заполняет прозой высокой концентрации, прекрасной ясности, хирургической точности – и давно забытого образца. Чтобы оценить возможности этой эфирной скорописи, не нужны навыки дешифровщика: так мог бы писать какой-нибудь пушкин-007 – обезьяна, тигр и француз в одном прозрачном флаконе. Книга удостоена премии Андрея Белого за 2007 год.

Джордж Сильвестр Вирек

**ДОМ ВАМПИРА**

Первый американский декадент Джордж Сильвестр Вирек (1884–1962) впервые приходит к русскому читателю с романом «Дом вампира» (1907). В книгу включены записи разговоров Вирека с Адольфом Гитлером, Зигмундом Фрейдом, Магнусом Хиршфельдом, материалы о его отношениях с лордом Альфредом Дугласом и Алистером Кроули.

## Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Эдвард Морган Форстер

### ФАРОС И ФАРИЛЛОН

Британский писатель Эдвард Морган Форстер (1879–1970) был одним из создателей «александрийского мифа» XX века. Его усилиями египетский город, живущий торговлей «хлопком, луком и яйцами», в котором, казалось бы, не осталось ничего от города Александра, Клеопатры и Антиноя, превратился в одну из важных тем европейской литературы. Форстер разглядел в скучной улице Розетт, безуспешно пытающейся подражать парижским бульварам, Канопскую дорогу города Александра Великого, а в обитателях городского дна – персонажей александрийской поэзии.

Джеймс Парди

### Я – ИЛАЙДЖА ТРАШ

Престарелая, но прекрасная наследница нефтяного состояния уговаривает истекающего кровью чернокожего юношу следить за объектом ее желаний – девяностолетним Илайджей Трашем, актером ослепительной красоты. Однако ветреный Илайджа любит только одно существо – своего немого правнука. Впервые на русском языке – сюрреалистический роман великого американского прозаика.



**Издательства Kolonna Publications и  
Митин Журнал представляют**

Жиль Себан

**ДОМОДОССОЛА.  
САМОУБИЙСТВО ЖАНА ЖЕНЕ**

Жизнь Жене напоминает комическую сценку, душераздирающую и наводящую ужас, – что-то вроде циркового номера, по окончании которого клоуны выходят за ограду шапито, влезают в автофургон и с фатальным лязгом захлопывают двери, а затем, даже не сняв грим, нажимают на курок и вышибают себе мозги.

Ладислав Клима

**ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ТРАГИКОМЕДИЯ**

Пятеро гимназистов, сдав экзамены на аттестат зрелости, встречаются в пивной, и каждый провозглашает свой жизненный идеал. Один клянется посвятить жизнь науке, другой – женщинам, третий видит смысл жизни в деньгах, четвертый наблюдает в себе ростки поэтической гениальности. А пятый – по имени Нездешний – утверждает, что эти мечты и идеалы не стоят и ломаного гроша – как и весь земной мир с его «добродетелями» и «ценностями». И именно его пророчества сбываются спустя 30 лет...

**Издательства Kolonna Publications и  
Митин Журнал представляют**

Герард Реве

**ПИСЬМА СИМОНУ К.**

Единственное – это Искусство. Я имею в виду, это единственное, что дает удовлетворение. Телесная любовь, вино, – они подавляют всё. Искусство дает опору ввиду своей полнейшей никчемности. И Церковь, конечно, покуда она не имеет смысла и не ввязывается в общественные перебранки, в которых до сих пор с безошибочной уверенностью отдавала предпочтение убийцам, гангстерам и черни.



Книги издательств «Митин Журнал»  
и «Kolonna Publications» можно приобрести в *Москве*:

«Фаланстер», Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27  
«Циолковский», Большая Молчановка, д. 18  
«Москва», ул. Тверская, д. 8  
«Московский Дом Книги», ул. Новый Арбат, д. 8  
«Библиоглобус», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 5  
«Dodo», ул. Солянка, д. 1/2, стр. 1

в *Санкт-Петербурге*:

«Порядок слов», Наб. Фонтанки, д. 15  
«Все свободны», Наб. Мойки, д. 28, второй двор  
«Свои книги», ул. Репина, д. 41 (во дворе)

через *Интернет*:

«Ozon» [ozon.ru](http://ozon.ru)  
«Лабиринт» [labirint.ru](http://labirint.ru)  
«Лавка Я + Я» [shop.gay.ru/books](http://shop.gay.ru/books)

в *Украине*:

«Либра» [librabook.com.ua](http://librabook.com.ua)

Марсель Жуандо

**ОБРАЗЫ ПАРИЖА**

перевод *Татьяны Источниковой*